

ВЕСТНИК
ШКОЛЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Общая тетрадь



Москва 2016

Издание выходит
раз в квартал

Редакционный совет:

А.Н. Архангельский
Е.В. Барabanов
И.М. Бусыгина
С.А. Васильев
А.В. Макаркин
М. Мертеc (ФРГ)
С.В. Мошкин
Е.М. Немировская
В.А. Рыжков
Ю.П. Сенокосов
А.Ю. Согомонов
А. Хиль-Роблес (Испания)
Дж. Хоскинг (Великобритания)

Главный редактор: *Ю.П. Сенокосов*

Ответственный секретарь: *С.А. Максимов*

Художественный редактор: *Людмила Иванова*

Верстка: *Валерия Козак*

Фото: *Олег Начинкин*

*Издание этого номера журнала осуществлено при поддержке
НО «Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова)»*

Содержание

№ 3–4(71) 2016

К читателю

За гражданское просвещение! 5
Лена Немировская

Форум

- О послевоенном европейском наследии* 8
Матьяш Груден
- Если у демократии нет ориентиров, она теряет жизненную силу* 12
Катрин Лалюмьер
- Кризис ценностей и кризис государств* 17
Лев Шлосберг
- Вторая жизнь национализма и миграция* 21
Николай Эппле
- Универсализм и партикуляризм* 25
Михаил Минаков
- Отзыв о форуме* 30
Иван Улитчев

Точка зрения

(Российско-)украинский конфликт в свете дискурсивной этики Хабермаса 32
Родион Гаршин

Дискуссия

Этика в политике 39
Эдвард Скидельски

Семинар

Анатомия Левиафана 49
Екатерина Шульман

Есть ли у России шанс? 64
Леонид Гозман

История идей

Шарль-Луи де Монтескье и его время 76
Андрей Захаров

Суверенитет и разделение властей в учении Джона Локка 89
Бедри Генчер

Современная гражданская модель в Польше и западные модели 112
Томаш Зарицкий
Рафал Смочиньский

Гражданское общество

О гражданине и гражданском просвещении 126
Юрий Сенокосов

Исторический опыт

Москва–Петербург. 25 лет реформ 135

Книги

В фантазиях о прошлом 157
Андрей Захаров

Контрапункт 159
Владимир Рыжков

Nota bene

Размышления о российско-американских отношениях 169
Томас Грэм

*В оформлении этого номера журнала
использованы работы авторов из Италии, Польши, России, США, Франции*

17–18 октября 2016 года Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы провела в Берлине 2-й международный форум «В поисках утраченного универсализма», посвященный развитию гражданского общества.

Ниже публикуется часть выступлений, прозвучавших на форуме.

За гражданское просвещение!



*Лена Немировская,
основатель
Московской школы
гражданского просвещения*

Открывая наш второй форум «В поисках утраченного универсализма», я постараюсь ответить на вопрос: почему мы полагаем, что он может стать важным для понимания того кризиса, который переживают Европа, Россия и весь мир?

Мир меняется — научная революция XVII века открыла путь к постоянным научным открытиям и техническим изобретениям, породившим огромную фабрику по производству знаний. Появился фантастический мир информации, который, в свою очередь, породил невероятные по скорости формы коммуникации.

Общество потребления, в котором мы живем, это одновременно и мир рекламы, который навязывает нам поведение несвободного выбора. И, конечно, телевидение, радио и социальные сети, формирующие современное общественное мнение.

Понятие «золотой миллиард», свидетельствующее о несомненно существующем дисбалансе в уровне жизни между населением развитых и развивающихся стран, появилось в условиях глобализации, которая породила и другой кризис — напряженное непонимание фактически в каждой стране между теми группами населения, которые пользуются благами глобализации, и теми, кто по разным причинам лишен доступа к ним.

Популистские политики используют это социальное неравенство и эту несправедливость во время выборных кампаний, навязывая обществу как якобы спасительные

традиционные ценности, основанные на идее культурной исключительности. А это приводит к углублению уже существующих противоречий, обострению конфликтов и использованию известного инструмента их разрешения — войне.

Как это принять? И как с этим жить?

Мы знаем, что живем в мире информации. Но что это — ясное небо или облако, скрывающее солнце? Мы видим, как демоны пропаганды освоили более современные формы.

Философы полагают, что вера без идеологии — это метафизика, открывающая для нас веру в свободу. И я готова это принять, так как понимаю страну, в которой мы находимся.

Мы открываем этот форум, посвященный теме универсальных ценностей, в Берлине — в Германии, послевоенный опыт которой убеждает нас, что целая страна способна совершить то, что можно назвать историческим опытом искупления.

Сегодня мы на той же земле, где господствовал фашизм, но мы в другой стране, которая прошла этот опыт искупления и внимательна к тому, чтобы молодые люди, новые поколения понимали значение этого опыта не только для собственной страны, но и для Европы и мира.

Для меня очень важен опыт послевоенного поколения немецких интеллектуалов. Назову лишь два имени, я знаю лично этих мыслителей — Ральф Дарендорф и Юргенс Хабермас; их детство и юность пришлось на годы войны и фашизма, а в молодости они стали свидетелями послевоенного унижения Германии.

Здесь в зале сидит моя подруга, историк Ютта Шеррер, через личную биографию которой я хорошо знаю об этом опыте.

Для этого поколения проблемы взаимопонимания, общественного согласия и мирного сосуществования народов имели как теоретический интерес, так и самое практическое, актуальное и лично переживаемое значение.

Книги Хабермаса и Дарендорфа посвящены проблемам конфликта.

Дарендорф размышлял над тем, каким образом возможно преодоление конфликтных ситуаций и тем самым совместное действие людей, то есть признание ими значимости неких общих целей и норм.

Согласно Хабермасу, в основе устойчивого общественного консенсуса лежат коммуникативные акты, направленные на человеческое взаимопонимание.

Эти теории взаимно дополняют друг друга. И в этом я вижу их интеллектуальную силу, которая придает сегодня, я не сомневаюсь в этом, уверенность и нам, гражданам разных стран, собравшимся в этом зале, продол-



тамышев

жать борьбу за права человека, за правовое государство, за прозрачность власти и бизнеса.

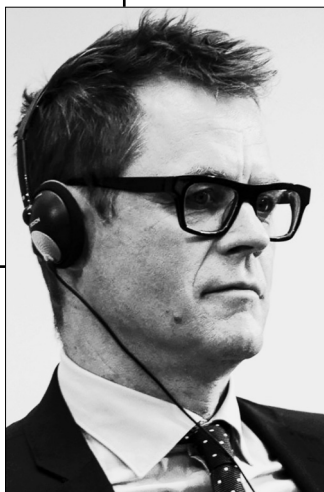
И в этой связи мне хочется вспомнить также о Вацлаве Гавеле.

Это он полагал: диктатура начинается в наших головах.

Но мы, кто приехал на этот форум, можем сказать, что, занимая активную гражданскую позицию, способны преодолеть такую диктатуру.

Может быть, это только безрассудная надежда? Нет, надежда, говорил Гавел, это «не убеждение, что все будет хорошо. А уверенность в том, что то, что ты делаешь, имеет смысл вне зависимости от того, чем это кончится».

На мой взгляд, гражданин — свободный, ответственный, активный человек — одна из центральных фигур современного мира. Гражданственность — это то, что можно добавить к любой культурной идентичности. Она не дана нам от рождения, она воспитывается — каждый день через постоянное усилие быть гражданином. Поэтому девиз нашей Школы — «Обществу граждан — гражданское просвещение!».



*Матьяш Груден,
директор отдела
политического планирования
Совета Европы*

О послевоенном европейском наследии

Доброе утро, дорогие друзья и коллеги. Не скрою, я очень рад быть здесь, хотя мне и пришлось очень рано сегодня встать. Когда я ехал в Берлин, думал о словах, которые надо было бы произнести в качестве представителя Совета Европы. Однако потом за рулем автомобиля решил, что бюрократом быть не следует. Находясь в том состоянии ясности, которое нас иногда посещает в 4 утра, мне захотелось придать своим словам более личный характер, нежели говорить о сугубо институциональных вещах.

И вот такая, казалось бы, сказочная история мне привиделась. Представьте себе, что обсуждение, или дискуссия, или переговоры между Россией и Соединенными Штатами по Сирии привели бы к соглашению, к долгосрочному перемирию. Представьте или вообразите, что сторонам удалось бы соединить все усилия для нанесения сокрушительного удара по ИГИЛ и достижения долговременного мира. После чего, к примеру, Саудовская Аравия и Иран сели бы за стол переговоров и, обсуждая необычайно сложные вопросы двусторонних отношений и ситуации на Ближнем Востоке вообще, тоже договорились бы о долговременном, постоянном мире между суннитами и шиитами. Вообразите, что страны Ближнего Востока начали бы важные экономические и социальные реформы. И наконец, Израиль, государство, которое с недоверием и подозрением наблюдало бы за такими невероятными и сказочными переменами, вдруг осознало, что теперь и оно может сесть за стол переговоров с арабскими странами по всему этому кругу вопросов. То есть руководители всех государств сели бы за стол переговоров с учетом взаимных договоренностей и была бы подписана ближневосточная Конвенция о защите прав человека. Все это звучит, конечно, как фантазия. Однако согласитесь, что именно это было бы наилучшей иллюстрацией того, что удалось сделать Европе после Второй мировой войны.

Я не ясновидящий, не прорицатель. И мне трудно сказать, сумеют ли когда-либо народы и люди на Ближнем Востоке прийти к подобному решению. Но у нас есть пример того, как это сделала Европа, которая более 60 лет назад, опираясь на поистине ужасающий опыт самых страшных войн в истории человечества и немыслимых преступлений, когда-либо совершенных одними людьми по отношению к другим, сумела создать новую Европу как политический проект, призванный защищать ее от самой себя. Проект, создающий определенную базу для общей универсалистской космополитичной Европы.

По сути, мы продолжаем говорить сегодня о правовых установлениях, о фундаменте мира, который был заложен в августе 1945 года Лондонским соглашением между странами антигитлеровской коалиции, а также Нюрнбергским процессом и его определениями преступлений против человечности. Тогда впервые в истории в международное право были внесены принципиально новые нормы об ответственности глав государств и правительств. А именно — были впервые установлены ограничения абсолютного суверенитета и абсолютно-го права государства в отношении своих граждан, которых перестали называть подданными. Именно это было положено в основу долговременной стабильности и мира.

Спустя 60 лет мы можем обозреть этот исторический период и попытаться проанализировать, где мы находимся с точки зрения фундаментальных основополагающих свобод и верховенства права. Недавно я прочитал исследование Эссекского университета, основанное на данных социологических опросов в 12

странах, посвященное, в частности, и проблемам популизма. В целом, к сожалению, наблюдается достаточно негативное отношение к иммиграции и дальнейшей европейской интеграции. Практически во всех странах растет число людей, которые неприязненно относятся к этим

Люди утратили связь с послевоенным духом, будучи погруженными в постоянные тревоги и проблемы повседневной жизни.

Однако это прямая дорога к популистскому авторитаризму. Возникает вопрос, как этому противостоять?

процессам: 46% в Великобритании, 47 — в Италии, 63 — во Франции.

Еще одно исследование, которое проводилось до брекзита, показало, что 70% публикаций о защите прав человека в Британии были негативными. И это в стране, которая дала нам Великую хартию вольностей!

Очевидно, что это общее восприятие соотносится с тем, что люди утратили связь с послевоенным духом, будучи погруженными в постоянные тревоги и проблемы повседневной жизни. Однако это прямая дорога к популистскому авторитаризму. Возникает вопрос, как этому противостоять?

Мы наблюдаем явный рост так называемых нелиберальных демократий. Я происхожу из Словении, мне полсотни лет и полжизни я прожил в стране, которая именовалась народной демократией, но, по сути, представляла собой один из вариантов тоталитаризма. Ни о какой свободе тогда, разумеется, речь не шла: свобода либо есть, либо ее нет. Нет такого понятия, как нелиберальная свобода. Дисфункциональность и нарушения в сегодняшней системе возникли



Линн Чедвик. Юбилей III, макет IV. 1987

из-за того, что недооценивается наша способность к рациональному совместному подходу к решению стоящих проблем. Популизм власти ведет к эрозии концепта единой универсалистской Европы.

Тема нашего форума, как и в прошлом году, — «В поисках утраченного универсализма», но я не думаю, что он утрачен. Я думаю, что мы скорее пытаемся его бездумно игнорировать, замалчивая это понятие. Разумеется, нас в Совете Европы это по-настоящему беспокоит. Разумеется, мир в Европе зависит от успехов либеральной демократии.

Рост негативных тенденций, конечно, не может не тревожить нас. В большинстве из 47 государств — членов Совета Европы мы наблюдаем проблемы с независимостью правосудия и судебной системы в целом. Если говорить о свободе выражения, то ситуация становится все хуже. Физические угрозы, аресты, незаконные досудебные задержания, давление на СМИ нарастают по всей Европе, в том числе в странах, которые считаются вполне благополучными. В сети Интернет та свобода, которая воспринималась нами еще недавно как совершенно естественная среда беспрепятственного потока информации из одной страны в другую, испытывает серьезные проблемы во многих регионах Европы.

В политических институтах сейчас можно использовать большинство, чтобы скорректировать правила демократического поведения. В результате наши общества становятся все более разделенными, более эксклюзивными, а не инклюзивными. И такого рода поляризация активно используется разными экс-

клюдивными группами в своих целях на основе религии, этнической принадлежности и т.д.

Я не являюсь паникером и не хочу сказать, что Европейский союз завтра закроет свои границы и начнется война. Но вопрос серьезный: а действительно ли мы хотим понять, что будет, если мы демонтируем механизм, который обеспечивал безопасность, стабильность и мир на нашем континенте почти семь десятилетий? На прошлой неделе я был на конференции в Страсбурге, где выступал профессор экономики и говорил, что все наши доводы и призывы в защиту мира потеряли свою убедительность. Я же сказал, что надеюсь на это, потому что если состояние мира требует борьбы и войны, это свидетельствует о запущенности ситуации.

В заключение поделюсь с вами личным впечатлением. Когда мне было 25 лет, я вернулся домой из европейского колледжа, где учился с молодежью не только из европейских стран, но и со всего мира. Мы целый год изучали право европейского сообщества. Единственное, что у меня было тогда на уме, как провести лето на Адриатическом море. Мы встречались с друзьями из Барселоны, из Лондона. Я ожидал, что у меня будет великолепная карьера впереди. Но 26 июня 1991 года меня разбудил грохот входящих в Люблян танков*. И вдруг я абсолютно ясно понял, как, думаю, поняли впоследствии многие люди в разных регионах Европы, что пришла война.

Война — это не что-то такое, что происходит где-то там, и не то, что происходит с кем-то другим...

* Так называемая Десятидневная война — вооруженный конфликт в Югославии между Югославской народной армией и словенскими сторонниками независимости республики. — Прим. ред.



*Катрин Лалюмбер,
Генеральный секретарь
Совета Европы (1989–1994)*

Если у демократии нет ориентиров, она теряет жизненную силу

Дамы и господа, дорогие коллеги! Год назад мы собрались здесь, в Берлине. Тема, которая тогда обсуждалась, была та же, что и сейчас. И, как в прошлом году, я хочу высказаться в качестве президента Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы. Я хотела бы горячо поблагодарить за поддержку Совет Европы и, разумеется, Фонд Роберта Боша, чьи заинтересованность и гостеприимство просто замечательны. А также хотела бы поблагодарить нашего друга Лену Немировскую за ее исключительный личный вклад. Есть определенное сходство между нашими встречами в прошлом и нынешнем году. Но политическая ситуация в Европе изменилась. Демократия, правовое государство, права человека и — еще шире — гуманистические ценности продолжают деградировать. Повторю: деградировать. Конечно, уже в прошлом году мы наблюдали значительный разлад в этих вопросах, но сегодня ситуация ухудшилась. То, что произошло в Великобритании, например... Ситуация ухудшается во всем мире, и в особенности на нашем континенте. Поэтому сосредоточусь в основном на Европе, на Большой Европе, той, которая входит в интересы Совета Европы, и на Европейском союзе. Не претендуя на обстоятельный анализ (это заняло бы гораздо больше времени), я хотела бы подчеркнуть три пункта. Первый: о сегодняшней концепции демократии, которая фактически полностью отказывается от того, что называлось демократией в Совете Европы и Евросоюзе и, в более широком смысле, во всем западном мире. Демократия для нас — это тип политического режима, который зиждется на двух комплексах характеристик. С одной стороны — характеристики «технические»: демократия стоит прежде всего на народном волеизъявлении посредством свободных и честных выборов. Выборы — это ключевое. Это то, что я назвала бы «инженерией», «механикой» демократии. Но

этот первый комплекс характеристик должен быть дополнен вторым набором характеристик: демократия должна включать в себя уважение к гуманистическим ценностям, к правовому государству и праву, в том числе международному. Она должна включать разделение ветвей власти, равновесие между ними и так далее...

Если коротко, то демократия в нашем понимании включает как некие механизмы, так и некие смыслы. Конечно, в эпоху коммунизма, во времена СССР, эта страна имела другую концепцию — народной демократии. Но с момента падения Берлинской стены и вхождения посткоммунистических стран в западные организации, казалось, что весь мир принял западную, либеральную концепцию демократии с ее двумя принципиальными характеристиками: выборным механизмом и гуманистическим, правовым содержанием.

Сегодня в этом прекрасном единодушии пробита брешь и появляется (или возрождается) некая новая концепция демократии, которую мы во Франции назвали демократурой. Принцип «демократуры» состоит в том, что единственное, что для нее является важным — это народная поддержка. Если эта поддержка выражается во время выборов, то избранная власть считает себя вправе безнаказанно делать все что угодно. В том числе нарушать свободы, нарушать правовое состояние и так далее. Народная поддержка — единственный аргумент легитимности. Власть, таким образом, скатывается к популизму, демагогии и к любым бесчинствам, каких народ только может пожелать, в особенности когда он напуган. Мы можем сейчас наблюдать этот феномен, когда речь идет о террористах. Или же когда народу недостает знаний. Это случай, характерный для многих наших стран, где народ плохо знает историю и испытывает недостаток политической зрелости. Сегодня много стран, которые поражены, как гангреной, популизмом. И много политических лидеров, которые играют на этом. Да, они выигрывают выборы, референдумы (например, в Великобритании). Из этого они заключают, что могут делать все и не нести ответственности. В этой ситуации настоящему и искреннему демократу тяжело идти против «воли народа». Что же делать?

Как и в других подобных случаях, противостоять инфекции, вылечить болезнь можно только с помощью просвещения и обращения к разуму. Просвещение, просвещение и еще раз просвещение! Год назад мы все настаивали на его важности, и в этом году я вновь повторю, что без просвещения мы будем безоружны и не сможем противостоять демагогии, тому популизму, что нарастает сегодня во всех наших странах.

Во-вторых, я хотела бы указать на другой опасный момент. В этом году сильнее, чем когда-либо, мы наблюдаем подъем национализма. И не только в Европе: национализм усиливает позиции во всем мире. Но в Европе его усиление обретает особое значение (об этом уже говорил г-н Груден). Этот континент был колыбелью самого концепта нации, концепта государства и концепта государства-нации. Это привело нас к постоянному соперничеству и братоубийственным войнам, которые раздирали наш континент на протяжении столетий и в конце концов приве-



Мино Россо. Материнство. 1930

ли к ужасам XX века. Европейская политическая конструкция, начиная с 1945 года, родилась из воли к преодолению последствий избытка национализма, воли к примирению, желания жить вместе в гармонии. И нам это удалось. Мир воцарился почти на всем нашем континенте. Или правильнее сказать в прошедшем времени, поскольку сейчас на части европейского континента говорить о мире не приходится. Наши страны объединились. Падение Берлинской стены позволило всем европейцам оказаться в рамках Совета Европы. Мы были оптимистами. Но любой подъем националистических идей это серьезная угроза. Мне хорошо известно, что некоторые современные европейские политики (как Виктор Орбан в Венгрии, например), закрывая свои государственные границы, строя стены, полагают себя самыми преданными и лучшими

Европейцы считают, что мир в целом представляет для них угрозу, внушает им страх. Им ничего не остается, как хвататься за свою национальную идентичность как за спасательный круг. Евросоюз перестал их вдохновлять; он представляется им бюрократическим, лишенным перспектив, целей

защитниками Европы, ее культуры, ценностей, ее идентичности. На самом деле все обстоит как раз наоборот. Европа состоялась именно благодаря своему духу открытости. Этот дух был буквально выстрадан — открытость не всегда легкое дело. Но в конечном итоге европейская культура была построена, впитав идеи и знания со всего мира, развивая человеческую любознательность и веру в прогресс. Словом, если существует некий «европейский дух», то это дух открытости, а отнюдь не дух изоляционизма. Отторжение других, страх перед другими, ксенофобия, расизм — все это не защитит Европу. Это может лишь разрушить ее в моральном отношении. И этот дух открытости, который воодушевил нас в 1989 году, когда мы в Совете Европы протянули руку первым двум странам, которые присоединились к нам (сначала Венгрии, затем Польше), кажется, сегодня забыт некоторыми жителями этих стран.

Я закончу третьей и последней ремаркой о болезнях сегодняшних демократий. Наши демократии (включая, конечно же, и демократии действующих членов Евросоюза) имеют нерешенную проблему: как мобилизовать своих граждан для участия в общих проектах. Любопытно, что наши страны больше задаются вопросом «как сделать», и гораздо реже — «для чего». Мы работаем над улучшением институтов, над созданием общепринятых правил, но у нас не доходят руки до того, чтобы выдвинуть крупный политический проект, который придаст бы смысл этим усилиям, ибо граждане нуждаются в том, чтобы знать, к какой цели они направляются и для чего они все это делают. В прошлом многие из наших стран были очень сильны, чтобы увлечь своих граждан идеями. Вспомним о британской колониальной империи, о Франции или о дру-

гих странах. Я не говорю что колониальные империи — это хорошо, но они давали многонациональному населению некую цель и определенное чувство гордости. Вспомним о динамизме, который породила «американская мечта», во многом определившая рост могущества США. Сегодня вы видите кое-кого, кого вы хорошо знаете — президента Путина, который получает на выборах очень эффектные результаты, потому что он вернул — хотя и в очень специфичной манере — российскому народу его гордость и уверенность в будущем. В сегодняшней Европе дело обстоит по-другому. Нам не хватает видения будущего, не хватает целей, которые увлекали бы и мобилизовывали людей. И это касается как каждой из наших стран в отдельности, так и всего Европейского союза в целом. Граждане наших государств считают, что мир в целом представляет для них угрозу, он внушает им страх. Им ничего не остается, как хвататься за свою национальную идентичность как за спасательный круг. Европейский союз перестал их вдохновлять; он представляется им холодным (я бы сказала даже — фригидным), отстраненным, бюрократическим, и, что самое важное, он кажется лишенным перспектив, целей. Добавлю, что программы и проекты, которые есть у Европейского союза, все имеют отношение исключительно к материальной стороне жизни, они слишком материалистичны. Это в основном экономические, финансовые, монетаристские программы и проекты. Конечно, это необходимо, всем хочется, чтобы экономика работала, несомненно, это серьезно. Но это не затрагивает человеческих чувств, даже если программы и касаются социальной сферы.

Европа обладает уникальным культурным и духовным наследием. Права человека, любовь к ближнему, свобода, равенство и братство, солидарность — все это официально зафиксировано в наших текстах. Совет Европы делает все, что в его силах, чтобы культивировать эти великие ценности, но страны, являющиеся его членами, сегодня ему не помогают в том, чтобы защитить эти столь важные ценности. В этих условиях не стоит удивляться тому, что нынешняя демократия находится не в лучшем состоянии. Демократия не может выжить, не подпитываясь политической философией, которая придает ей смысл. Если она не питается представлениями о добре и зле, если у нее нет ни ориентиров, ни убеждений, одним словом — если у нее нет души, да, именно души, демократия теряет жизненную силу и умирает. Это то, чему мы рискуем стать свидетелями в начавшемся XXI веке. Мы живем в парадоксальном мире. Мы обладаем техническими и коммуникативными средствами необычайной мощи. И в тоже время наблюдаем стагнацию мыслительного процесса и идейное обнищание. Мы обладаем инструментами и орудиями, но наши ответы на фундаментальные вопросы, наши мысли и идеи слабы и поверхностны. У нас есть превосходные ученые, инженеры, специалисты, но наши политики по большей части весьма посредственны, будь они левого или правого толка. Демократия строится на сложном равновесии, и ей нужны все и всё, чтобы функционировать правильно. Школам политических исследований при Совете Европы еще предстоит в этой связи проделать большой путь.

Кризис ценностей и кризис государств

Уважаемые коллеги, дамы и господа! Школа и Ассоциация школ — мы все равно это называем Школой: несмотря на то что имя собственное звучит в единственном числе, мы понимаем, что речь идет о множественном числе, о большом сообществе людей, которые находятся на территории притяжения Школы.

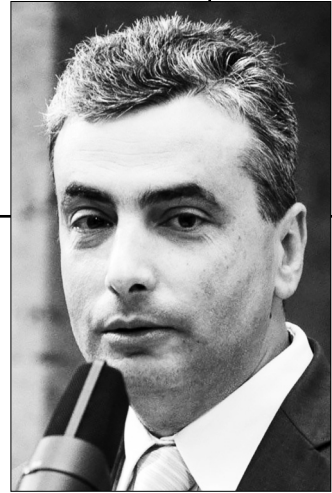
Школа является сегодня одним из важнейших в Европе общественных институтов, которые принимают участие в формировании и разрешении той повестки дня, которая во многом стихийно и очень драматично появляется на наших глазах в начале XXI века.

Мы с вами по существу находимся в ситуации кризиса ценностей. Именно кризис ценностей является первопричиной кризиса государств и кризиса надгосударственного управления.

Именно поэтому новые глобальные конфликты, которые возникли в последние годы, до сих пор не нашли разрешения. Государства и надгосударственные институты, которые находятся в конфликте с ценностями, либо не могут найти оптимальные решения, либо не в состоянии выполнить такие решения.

По существу главной антитезой, которую сейчас обсуждает общество, является антитеза войны и мира. Снова — войны и мира. Было много иллюзий, что в XXI веке развитые государственные и надгосударственные институты, развитые общественные отношения смогут избавить мир от угрозы новых мировых войн. Но вот уже несколько месяцев главной проблемой, которую мы обсуждаем, является проблема возможности или невозможности новой глобальной войны. Для многих это стало неожиданностью. Сегодня политики ищут, но не находят ответа на вопрос, что делать, и общественные институты тоже находятся в некоторой растерянности.

Ценности рождаются из больших потрясений — государственных и общественных, глобальных потрясений. Ценности рождаются как ответ на эти потрясения, как некая система связей, система отношений, которая позво-



*Лев Шлосберг,
политик, правозащитник,
журналист,
г. Псков*

ляет добиться снятия угрозы и создания ситуации, когда повторение угрозы будет невозможно.

Когда возникла объединенная Европа, она появилась на руинах Второй мировой войны, которая до сих пор остается самой кровавой, разрушительной, самой трагической в истории человечества. Но сегодня существуют технические возможности превзойти масштабы этих ужасов.

Во многом корни сегодняшнего состояния заключаются в том, что общая система ценностей после Второй мировой войны не коснулась одной из стран, победивших во Второй мировой войне, — Союза Советских Социалистических Республик и тех государств, которые находились в зоне его влияния. То есть новая система ценностей не стала общей системой ценностей для всех победителей.

Парадоксально, но государство, инициировавшее эту войну, несущее на себе основную часть ответственности, оказалось в лоне этих новых ценностей, а Советский Союз, победитель, не оказался. Когда в конце 80-х — начале 90-х годов XX века новые ценности пришли в СССР, возникла иллюзия, что они станут всеобщими, что огромная ценностная лакуна, которая располагалась на территории СССР и Восточной Европы, будет восполнена, и это откроет возможности, которые создадут пространство для новых решений.

Но этого не произошло, к сожалению.

Все хотели изменений в Советском Союзе — и никто не был готов к этим изменениям: ни внутри Советского Союза, как показала наша политическая практика, ни вне Советского Союза, в том числе в Европе.

Люди, которые создавали архитектуру и ценности новой Европы, безусловно, выстрадали их: они были участниками войны, у них погибли близкие, они видели разрушенные города и государства — и это были для них личные ценности.

Люди, которые пришли им на смену, по совершенно понятному закону поколений стали потребителями этих ценностей. Это было нечто благоприобретенное, как на рынке: мы родились, мы пришли в этот мир — а здесь свобода и демократия.

Каковы корни свободы и демократии, как дорого они стоили? Насколько все это хрупко и насколько легко может быть утрачено? Люди в массе своей не задают себе этих вопросов, и не нужно думать, что они должны их себе задавать. Так называемый обычный человек — он и есть потребитель, в том числе демократических ценностей.

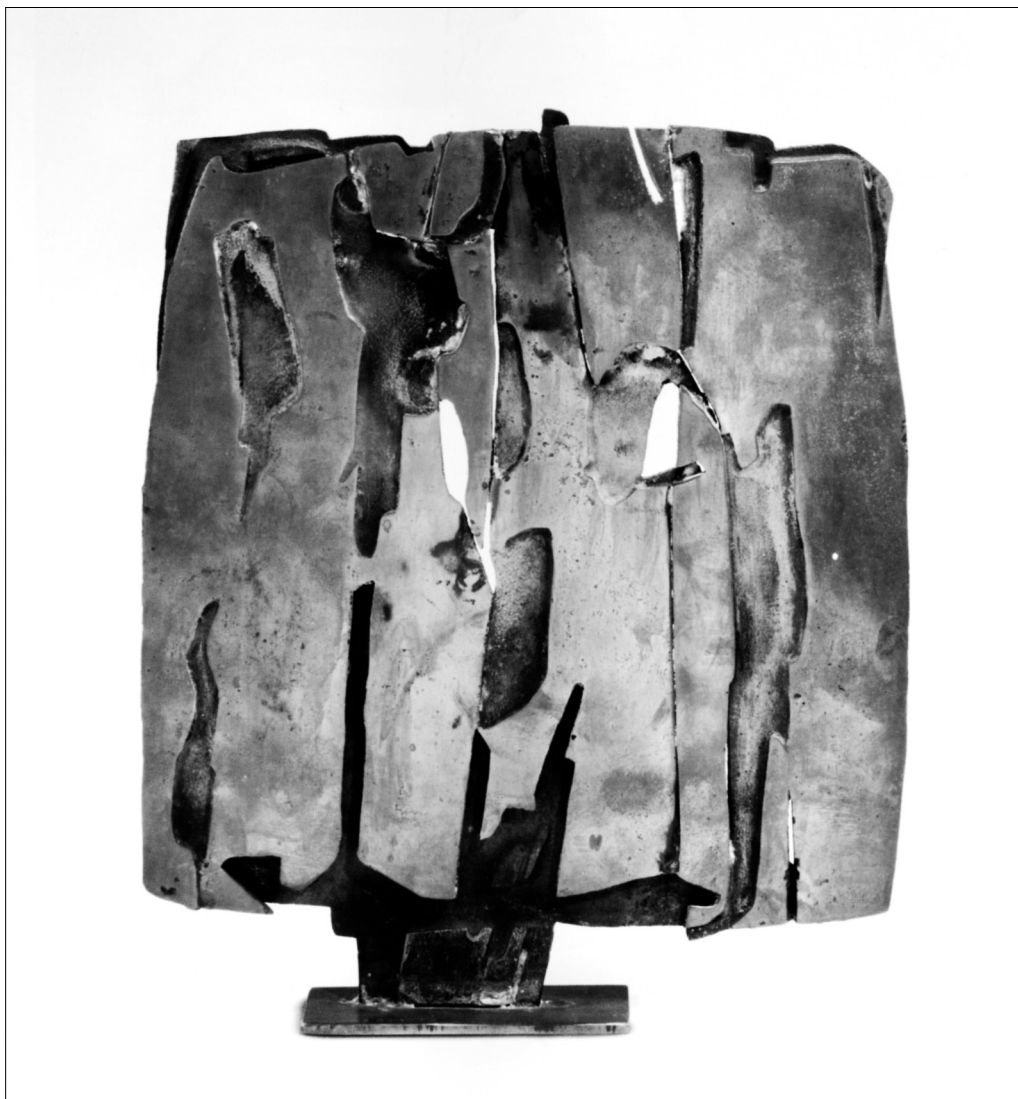
Политики являются самой опасной категорией людей, пользующихся демократическими ценностями: как только из носителей ценностей они становятся потребителями, все разрушается.

Эта угроза сегодня существует и в нашей стране, в России. Мы находимся сейчас в очень сложной ситуации.

Мало с какой страной, как с Советским Союзом, всего 25 лет назад были связаны в Европе и мире такие надежды, и мало какую страну — и нас, граждан России, и тех, кто общается с нами и смотрит на нас со стороны, — постигли такие сильные разочарования. Сила ожиданий вполне равна силе разочарований.

К сожалению, ни в конце 80-х, ни в начале 90-х годов XX века наше государство и общество не предприняли необходимых действий, чтобы ценности свободы и ценности демократии у нас укоренились. Мы их только увидели, но они не стали ценностями государства и, к сожалению, ценностями большинства общества.

Чтобы ценности конвертировались в государственный и общественный порядок, необходим решающий рычаг. Он везде один, в любой стране мира — в любое время, во всяком случае, в XX веке и после XX века — это общественные институты. Именно их созидания не произошло в нашей стране, мы не смогли построить



Пьетро Консагра. Телеграмма II. 1960

адекватное ценностное пространство, что и объясняет последствия, которые наступили и для российских граждан, и для Европы, и, возможно, для всего мира.

Главное понимание, которое постепенно приходит ко всем, кто пытается осознать происходящее, заключается в том, что эти ценности — ценности свободы, ценности человеческой жизни, гуманизма — не являются константой. Они не могут быть достигнуты, как Эверест, и если вы покорили эту высоту, то закрепились на вершине навсегда — это не так.

Ценности свободы и демократии нужно поддерживать каждый день: это процесс, а не конечный результат. Для поддержания этих ценностей нужны постоянные усилия. Для этого после Второй мировой войны государства создали надгосударственные институты в надежде, что они будут справляться с этой задачей. Но это тоже оказалось в значительной мере иллюзией, потому что внутригосударственная, национальная повестка дня может вступить в противоречие с наднациональной. Невозможно заниматься демократией во

всем мире — и не строить демократию у себя в стране. Если мы хотим строить демократическую Европу, все участники этого строительства должны заниматься у себя дома тем же. Это, к сожалению, не всегда получается и в самой Европе.

Очень символично, конечно, что развивающийся и до сих пор неразрешенный конфликт Украины и России возник на территории бывшего Советского Союза, который не разрешил для себя вопрос о ценностях и вопрос о новом демократическом государственном устройстве. Там, где недоработали, там и обрушилось: не были выстроены связи, в том числе общественные, которые могли бы остановить войну. Все нарастающее противоречие между объявленными целями надгосударственной политики и фактическими целями внутригосударственной политики является сегодня конфликтом, который возвращает в мировую повестку дня вопрос о том, что такое общие ценности свободы и демократии. Они должны быть общими внутри — для себя, для человека, в том числе для политического лидера, они должны быть общими для государства и общества. Тогда из этого могут вырасти общие надгосударственные ценности, которые способны в решающий момент остановить такие конфликты, которые внезапно, как рецидивы, возникают между государствами и, можно сказать, между народами.

Отсутствие этого внутреннего единства, этой цельности на базе ценностей, привело к тому, что на конфликт России и Украины нет сегодня ответа международного сообщества, в том числе европейского. Ответа нет, и поэтому этот кошмар продолжается.

Этот конфликт свойственен сегодня большинству национальных государств, потому что сегодня большинство политических лидеров (когда я говорю «большинство», я имею в виду, что есть исключения,

но их немного, к сожалению) являются потребителями ценностей демократии и свободы, не совсем понимая, из чего эти ценности выросли и как нужно заботиться о том, чтобы они сохранялись.

Нарушение диалога между государствами, высокая доля политического государственного национального эгоизма, который сегодня является доминантой в мировых отношениях, умножает конфликты.

То, что в эти дни происходит в Сирии, совершенно четко показывает, что никто не намерен останавливаться. И при этом ни у кого нет решения. В таких обстоятельствах и начинаются войны как способ перемен, где каждый надеется победить.

Что делать в этой и в иных кризисных ситуациях? Кто может и что может быть решающим фактором изменения ситуации? Потому что нет ничего предопределенного, все можно изменить.

Ответ может показаться банальным, и тем не менее — это общество, его институты. Они не связаны многими нормами формального права, государственными ошибками; они приводят в действие горизонтальные связи, в отличие от государства, которое, каким бы оно ни было, строит связи в большей степени вертикальные. Но если бездействуют общественные связи по горизонтали, то не будут работать и государственные, межгосударственные связи по горизонтали.

Мы должны сегодня задуматься и вспомнить о задачах гражданского общества после Второй мировой войны и о том, как они решались тогда, чтобы не началась третья мировая война. Ибо она не является неизбежной.

Мы с вами представляем уникальный общественный институт, который называем Школой. По большому счету сегодня здесь, в этом зале, мы являемся неким образом будущего: мы разговариваем между собой, стараемся внимательно слушать и понимать друг друга.

Вторая жизнь национализма и миграция

Я благодарю организаторов форума за приглашение и возможность выступить. Год назад Иван Крастев говорил здесь о том, что кризис, свидетелями которого мы оказываемся, можно определить как кризис взаимозависимости.

Становящийся все более глобальным мир испытывает отрицательные реакции на эту глобализацию, теряет былое качество универсализма и нуждается в восстановлении этого универсализма на новом уровне. Чтобы преодолеть кризис, нужно найти способ работать с этими отрицательными реакциями. Мы говорили также о том, что при позитивных или негативных ожиданиях власти и общества одни и те же идеи, одни и те же явления — свобода торговли, открытые границы, свобода движения капитала — могут восприниматься соответственно либо как преимущества, либо как угроза. За прошедший год мы увидели, что сумма негативных ожиданий и страхов перевесила и достигла критических масштабов. И кризис беженцев, которому посвящена наша секция, очень объемно высвечивает дилемму, о которой мне хотелось бы сказать, — дилемму выбора между страхами и ценностями. Я бы использовал для этой ситуации выбора слово «искушение». Оно точнее, чем просто «испытание», потому что предполагает не внешнее, а внутреннее описание происходящего и внутреннюю же работу по преодолению трудностей, поиску решения. Потому что то, с чем мы имеем дело, это не столько угрозы (фактор объективный), сколько страхи их реализации (вещь субъективная и подвижная). Причем страхи гораздо сильнее, чем реальная опасность угроз. И именно эти страхи эксплуатируют политики.

Мы видим очень отчетливо две логики — логику страхов и логику ценностей. Первую очень рельефно изложил в красноречивом обращении к нации уже упоминавшийся здесь венгерский премьер Виктор Орбан. «Массовая иммиграция, — говорил он, — подобна медленному и

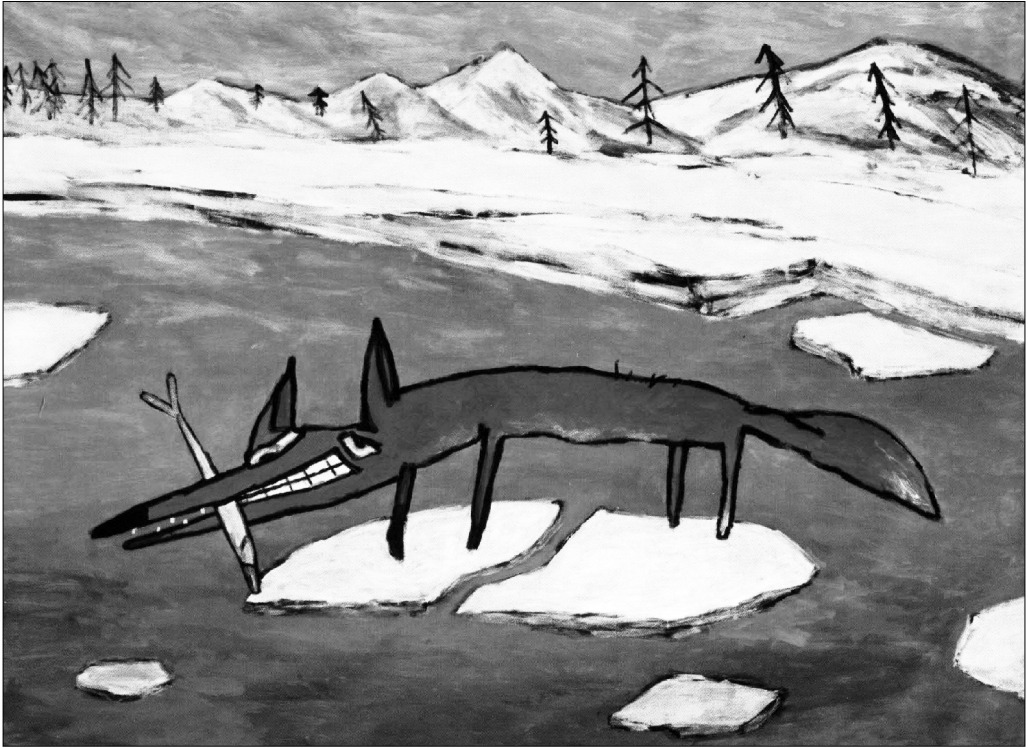


*Николай Энгле,
обозреватель газеты
«Ведомости»*

настойчивому течению, размывающему берега. Она прикрывается соображениями гуманизма, но ее подлинная причина — стремление оккупировать территории. Захват территории иммигрантами означает ее потерю для нас». Эта логика апеллирует к силе. Она видит в открытости и трансграничной солидарности угрозу суверенитету. И она предпочитает суверенитет правам человека. Политическое развитие этой логики — это многократно сегодня упоминавшееся усиление правых партий по всей Европе, рост национализма и ксенофобии и мощнейшая волна популизма. Мы видим, что в последний год эта тенденция обозначилась предельно ясно.

Логика же ценностей основывается на исторической памяти. В частности, на коллективной памяти народов Европы о кризисе беженцев во время Второй мировой войны. Тогдашний показатель числа перемещенных лиц в мире — 50 млн человек — был превышен в 2013 году, а в 2015-м их было уже 65 млн. Год назад Иван Крастев говорил, что европейский универсализм и Европейский союз как форма его институционализации был основан на эмпатии и сострадании, потому что возник в странах, потерпевших поражение во Второй мировой войне. И когда в августе 2015 года французский министр иностранных дел Лоран Фабиус заявил, что стена, возведенная Венгрией на границе с Сербией, противоречит общеевропейским ценностям, он имел в виду именно память о том, как сами европейцы в годы Второй мировой испытали участь беженцев на себе.

Страх перед чужими заставляет нас вспомнить основания европейской идентичности и ценностей, которые во многом связаны с принятием другого, постоянное взаимодействие с иными народами, которые на протяжении веков заселяли Европу и становились частью ее. Лев Шлосберг говорил, что ценности вырабатываются в кризис. Как известно, столь важные для Европы ценности толерантности и принятия другого во многом стали возможны в результате кризиса, связанного с религиозными войнами XVI–XVII веков. Пройдя через этот кризис, сообщества разных исповеданий пришли к осознанию необходимости выработки механизмов мирного сосуществования. Европейская история говорит нам, что, парадоксальным образом, чтобы сохранить свою идентичность, ты должен в каком-то смысле от нее отказаться и тем самым обрести ее на новом уровне. Тут можно вспомнить евангельскую притчу о зерне (ту самую, что стала эпиграфом к «Братьям Карамазовым»): «если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». О том, что принятие другого — это формирующая точка европейской идентичности, напоминают многочисленные примеры из культуры и философии. Здесь достаточно упомянуть французского философа Эммануэля Левинаса, сформулировавшего философию «Другого»: сохранить свою цельность можно, только сумев каким-то образом от нее отказаться, чтобы обрести ее на новом уровне. О том же самом в один голос говорят экономисты и политологи: удачная адаптация иммигрантов способна стимулировать экономику принимающих стран, и экономику Германии в частности. И наоборот, пытаясь всеми силами сохранить свою цельность, государства оказываются в изоляции, и тогда эта цельность оказывается под угрозой.



Инал Савченков. Без названия. 2000 -е

Как может быть сформулирована политика, основывающаяся на ценностях, — вопрос более сложный. Впрочем, оставаясь в рамках оппозиции страхов и ценностей, можно сказать, что разумная политика не только не манипулирует страхами, но также не игнорирует их, а ищет способы их интегрировать. Итоги британского референдума и президентских выборов в США показывают, как опасно игнорировать и недооценивать эмоции, страхи и обиды, считать работу с ними не стоящей внимания.

В каком-то смысле процессы, очень похожие на те, которые мы здесь обсуждаем, происходят сейчас с гражданским обществом в России. Ценность принятия другого, послужившая фундаментом европейской идентичности, на практике, для каждого отдельного человека, часто оказывается абстракцией, от которой в ситуации искушения страхами легко отказаться. То же самое происходит с демократическими ценностями в России. Ведь то, что мы получили когда-то авансом и что казалось нам само собой разумеющимся, сейчас мы вынуждены всерьез, и, быть может, впервые, отстаивать. И оказывается, что ты имеешь те права, которые готов отстаивать, что это ситуация не абстрактная, а конкретная. И возможна выработка на новом уровне политики этого взаимодействия с новым, интеграция с новым и работа со страхами — это основа какой-то новой универсальной политики, политики нового универсализма.

Мы здесь пользуемся гостеприимством Фонда Роберта Боша и с благодарностью вспоминаем его основателя. В заключение, в качестве иллюстра-

ции к сказанному, мне хотелось бы вспомнить другого Боша, Иеронима, известного под именем Босх — великого нидерландского художника. 2016 год — это год 500-летия смерти Босха, и этому посвящены интереснейшие выставки его картин тут неподалеку. Босх в истории искусства остался художником, который показал страшную сторону реальности. Средние века прекрасно знали уродливое и ужасное, не Босх это открыл. Но в чем же состояло его открытие, его новизна и почему он стал одним из первых художников Возрождения, точнее Северного Возрождения? Дело в том, что европейская цивилизация к этому моменту достигла уже такой зрелости, накопила такую энергию интеграции, что художник как выразитель эпохи смог вписать все эти ужасы в целое своих картин, интегрировать их. Знаменитый триптих «Сад земных наслаждений» — пример, когда и страшное, и обычное, и прекрасное оказываются вписаны в единое целое. То же сделал в литературе Данте Алигьери, предтеча Возрождения, вписав страшный Ад и прекрасный Рай в картину цельного и органичного мировоззрения. Может быть, мы имеем дело с борьбой страхов и ценностей, которая может обернуться рождением нового целого. Да, ценности могут проиграть, эта опасность совершенно реальна. Но если у них получится победить, то, возможно, мы получим новый уровень обобщения, новую и более цельную картину, новый космос. Возможно, у Европы есть силы, чтобы преодолеть искушение страхами и, ответив на эти действительно серьезные вызовы, дать пример нового универсализма, поиску которого и посвящен наш форум.

Ольга Гулина, директор и основатель Института миграционной политики (Берлин):

— Николай, у меня к вам вопрос. Дело в том, что Европа переживает миграционную проблему не первый раз. Только теперь она оказалась по другую сторону баррикад. Во время Второй мировой войны страны Ближнего Востока, та же Сирия, Ливан принимали сотни тысяч европейских беженцев, давали им убежище. Вы упомянули библейскую притчу о зерне. В Библии говорится о Лоте и его дочерях, о том, что принять чужестранца, дать ему кров — это наша нравственная обязанность. Так что же получается: страны, которые выступают против распределения беженцев, спасающихся от гуманитарных катастроф, нарушают этот библейский императив гостеприимства?

Николай Эппле:

— Собственно, об этом и речь. До какой степени мы готовы следовать ценностям, которые абстрактно разделяем, когда это касается нас непосредственно? Одно дело помнить о примерах принятия беженцев во времена Второй мировой. Другое дело, когда мы видим, как наше жизненное пространство захлестывает нечто чуждое и пугающее. Собственно, тут нет готового ответа. Страх может победить, и это, может быть, вполне обоснованный страх. Но дело, наверное, в том, что если эти ценности все-таки не абстракция, а нечто доказавшее свою применимость и работоспособность, стоит, положившись на них, преодолевать страх.

Универсализм и партикуляризм



*Михаил Минаков,
профессор Национального
университета
«Киево-Могилянская
академия»
(Украина)*

В самом начале первого десятилетия 21-го века европейцы вынуждены были признать провал политики мультикультурализма как регулятора этноконфессиональных отношений на континенте. Стремление обеспечить сохранение идентичности неместного населения, создание комфортных условий интеграции новых иммигрантов в европейское сообщество привели к кризису идентичности коренного населения самой Европы. Означает ли это, что европейцам придется пожертвовать своими фундаментальными нравственными и социально-политическими ценностями и принципами гуманизма и снизить планку толерантности в отношении пришельцев? Не думаю, что европейцы обречены на такую участь, хотя содержание понятия «мы европейцы», похоже, будет трансформироваться, дрейфуя в сторону политической радикализации, популизма, ренационализации и евроскептицизма.

Помните закон физики? Ежели где-то что-то убудет (то есть если мы теряем универсализм), то где-то что-то прибудет (то есть на его месте возникнет нечто иное). Так вот, мне кажется, что за последние два года мы оказались в Европе не универсализма, а в пространстве партикуляризма, в мире «нарциссизма малых различий» (по выражению Фрейда). Но крайне важно понимать, что универсализм — и в Восточной Европе, и в Западной Евразии — больше не является целью, ведущей к модернизации.

Посмотрите, что случилось с Европой совсем недавно? Один из самых успешных кандидатов в президенты Австрии — очевидный, яркий националист. В странах Скандинавии и Дании националисты становятся частью истеблишмента, или же политический истеблишмент начинает зависеть от них. Сегодня мы свидетели возникновения «пояса авторитаризма» в Восточной Европе — от Анкары до Москвы. И этот пояс захватывает все больше пространства.

Таблица 1

Праворадикальные и ультраправые партии в странах ЕС в 2015 г.

Страна	Партия	Лидер	Идеология	Доля избирателей
Франция	«Национальный фронт»	Марин Ле Пен	Против мигрантов, евроскептицизм, «свободная Европа суверенных наций»	25%
Нидерланды	Партия свободы	Геерт Вильдерс	Против «исламизации» страны, против мигрантов, евроскептицизм	13%
Дания	Датская народная партия	Мортен Мессершмидт	Против мигрантов, антимультимедиакультурализм, запрет на фин. поддержку мигрантов	27%
Германия	«Альтернатива для Германии»	Бернд Люке	Против ЕС, за право репатриации мигрантов, за «правильную Европу»	7%
Польша	«Новые правые»	Януш Корвин-Микке	Евроскептицизм, правый популизм, консерватизм	7%
Австрия	Партия свободы	Ганс Штрахе	Евроскептицизм, против мигрантов, «много ЕС — тупо!»	20%
Греция	Партия «Золотая заря»	Илиас Панагиотарос	Неонацизм, связи с преступными группировками, крайний консерватизм	10%
Италия	Партия «Пять звезд»	Беппе Грилло	За «прямую демократию», выход из еврозоны, против членства в ЕС	21%

Источник: *Rebellion that swept Europe, DailyMail report* [<http://www.dailymail.co.uk/news/article-2640040/Rebellion-swept-Europe-EU-sceptics-anti-migration-parties-make-historic-gains.html>]

В эту же картину вписываются консервативные режимы в Венгрии и Польше. В Венгрии, кажется, истеблишмент и общество поддались магии партикуляризма. Не будем забывать, что сам Орбан — это человек, который в 1980-е годы внес либеральные ценности в венгерское общество. Что произошло с нашими либералами, которые были нашими учителями в 1980-х — начале 1990-х? Как ни странно, в России, Украине, Турции, Венгрии, Польше бывшие либералы зачастую превращались в националистов и крайних консерваторов.

Но консерватизм захватывает не только Восточную Европу. В 2014 году евроскептики, то есть люди, которые напрямую, может быть, не являются открытыми националистами, но которые отстаивают партикулярные ценности своих сообществ и ставят под сомнение универсализм и проект Большой Европы, стали политическим мегатрендом в старых демократиях Запада.

Таблица 2

Отношение к евроскептическим партиям в европейских обществах

	<i>Одобрительное</i>	<i>Негативное</i>
Испания	70%	25%
Британия	66%	24%
Италия	58%	28%
Германия	50%	41%
Польша	36%	39%
Франция	36%	63%

Источник: *Spring 2015 Global Attitudes survey — Q77, Pew Research Center*

Партикуляристы-евроскептики предлагают «маленькие картины маленького мира». И эти «маленькие картины» добиваются электорального успеха. В 2015 году именно политические системы, которые для нас в Украине, Польше и Молдове были предметом подражания и изучения, стали пространством, где разного рода националистические и популистские партии становились все сильнее, получали поддержку избирателей и апеллировали к каким-то странным «местным ценностям».

Если раньше мы говорили о морали и неморали, где черное и белое разделялись, то теперь мы куда в более сложной ситуации. Ведь партикуляризм противостоит универсализму не как черное белому, а как одна мораль другой. Перед нами конфликт общечеловеческой универсалистской морали и морали локальных «воображаемых сообществ».

Чтобы понять этот конфликт, необходимо обратить внимание на политическое воображаемое. Воображение играет ключевую роль в сегодняшних политических процессах. Идентичности становятся едва ли не главными ценностями, и они же вступают в конфликт за главенство: что выше — идентичность европейца или идентичность, скажем, венгра? Если еще десять лет назад эти ценности и идентичности скорее поддерживали друг друга, то в мире 2016 года они конфликтуют: быть венгром означает не быть европейцем. И это происходит во всей Большой Европе.

Евроскептицизм происходит из этого конфликта идентичностей и одновременно, питает его. Исследование Pew Research Center в 2015 году показывает, что евроскептицизм среди обществ запада и востока Европы становится все более значимым.

Более того, под влиянием популярности евроскептицизма сомнение в важности общеевропейской идентичности захватывает властные элиты. Скепсис становится частью политического воображения национальных элит и масс.

Я начинал самостоятельную социальную и академическую жизнь в конце 1980-х, когда идея единой Большой Европы от Дублина до Владивостока была путеводной для переустройства нашего мира. Тогда мы смотрели на Совет Европы, как на организацию, которая ответственна за воплощение этого проекта. А сегодня, 25 лет спустя, этот проект кажется невозможным. Большая Европа, Европа свободы, толерантности и солидарности исчезла из повестки дня. И даже единство ЕС поставлено под сомнение. В пространстве невыполненной мечты Большой Европы теперь действуют три тенденции.

Первая — неспособность к единству и солидарности. Ни на общеевропейском, ни на национальном уровне. Брекзит и грекзит говорят о том, что свое будущее люди видят вне общего европейского дела. Сепаратистские движения говорят о невидении будущего и в национальных рамках.

Вторая тенденция — демодернизация. Демодернизация — это прежде всего изменения в культуре, где все большую роль играют внешние рамки (коллектив, традиция). Одна из черт демодернизации — снижение роли экономической и политической рациональности, а также спад поддержки либеральной демократии и демократических режимов.

Третья тенденция — становление новой архаики, когда консерваторы пытаются создать свой проект Антиевропы от Владивостока до Дублина. В этих культурных, политических и идеологических процессах заметно, что с востока приходит не только свет. Неудача в построении свободных стран с демократической политикой и свободным рынком запустил реваншистские настроения.

Таблица 3

Пророссийские партии в странах ЕС в 2015 г.

Венгрия	Партия «Фидес»
Германия	Партия «Левые» Партия «Альтернатива для Германии»
Греция	Партия «Сириза» Партия «Золотая заря»
Италия	Лига «Север» Партия «Пять звезд»
Латвия	«Гармония» «Русский союз Латвии»
Сербия	Сербская прогрессивная партия
Франция	«Национальный фронт»
Черногория	Социалистическая народная партия

Источник: Catherine Boyle, Some Russian-European ties are growing closer [http://www.cnn.com/2015/02/23/the-european-ties-russia-is-binding-closer.html]

Эти тенденции происходят и внутри ЕС, который долго оставался блюстителем универсальных ценностей и основанных на них институтах. Они усилили противоречия между национальными элитами и наднациональными структурами ЕС. Сегодняшнее восстание национальных элит апеллирует к исконным ценностям. Евроскептицизм, основанный на локальных ценностях, — это, безусловно, дискурсивная победа партикуляристов. Сегодня они задают тон и определяют политическую повестку дня, универсалисты лишь реагируют на инициативы противников. Однако такая ситуация культивирует особую диалектику развития Большой Европы. На гребне своего успеха партикуляристы на востоке и западе создают свои сети сотрудничества. Казалось бы, апеллируя к уникальности своих сообществ, националисты не способны к солидарному действию и сотрудничеству. Однако солидарность их партий очевидна.



Рой ДеКарава. Да хранит Господь детей! 1952

Заметным признаком сети европейских радикальных и умеренных евроскептических партий является их благоволение к Москве.

Но есть немало и других антиевропейских и евроскептических сетей, которые заполнили европейское пространство и создали свое пространство антиевропы.

Проект Общей Европы начался в 1989 году с падения Берлинской стены. Теперь тут возводятся стены. Они не остановят потоки мигрантов. Они не защитят от агрессивных соседей. Но они превращают Европу в источник конфликтов.

Самым конфликтогенным регионом сегодня является Восточная Европа. И нам, восточным европейцам, видимо, придется надолго забыть о мирном развитии региона.

Преодолеть смертоносные тенденции можно, лишь вернув фундамент для взаимопонимания между людьми. Европейскому универсализму нужны новое дыхание, новый дух и новое политическое тело. Необходима новая универсалистская повестка дня — культурная, социальная, экономическая и политическая. Нужно противопоставить дискурсу ультраправых освобождающие и солидаризирующие идеи. И наконец, важно оказать поддержку Евросоюзу и Совету Европы. Именно с этих идейных и институциональных оснований мы сможем вернуть Большой Европе ее будущее.

Завершу оптимистической фразой Юргена Хабермаса: «Большая Европа — незавершенный проект, и это вселяет надежду на его воплощение».

Отзыв о форуме

Я не занимаюсь, в прямом смысле слова, общественной деятельностью, а тем более политической. Хотя то, чем я занимаюсь, имеет некоторое отношение к просветительству, но это лежит в несколько иной плоскости, чем деятельность «Школы гражданского просвещения». Я — преподаватель православной теологии, и, кроме прочего, моя задача состоит в том, чтобы знакомить широкие массы людей, идентифицирующих себя с православной традицией, с подлинным содержанием этой самой традиции.

Я написал это о себе, чтобы было понятно дальнейшее — почему, получив любезное приглашение организаторов и решившись отправиться на форум, я испытывал некоторое напряжение. Ну, или неловкость. Признаюсь, кроме прочего, я ожидал услышать шаблонные высказывания о том, что «просвещенческий» идеал свободы и равенства, хотя и имеет в качестве одного из своих истоков христианское вероучение, в историческом бытовании входит в неизбежный конфликт с христианскими церковными институтами. И что в современной России Православная церковь, как ей и положено, выступает в качестве «темной силы», препятствующей свободе самовыражения и прочим гражданским свободам, и находится «по ту сторону баррикад» для сторонников прогрессивных общественных идеалов.

Сразу хочу сказать, что в ходе форума я убедился, что эти мои предположения ока-

зались если не совсем беспочвенными, то по крайней мере сильно преувеличенными. Во-первых, основатель Школы гражданского просвещения Ю.П. Сенокосов в своем выступлении не умалчивал о христианских истоках идеи гражданских свобод и даже цитировал очень важный для понимания христианского концепта свободы отрывок из апостола Павла (Галатам 5: 13–15). Важно, что в этом тексте упоминается и о взаимной любви, и о взаимном служении — которые, по мысли Юрия Петровича, в наше время воплощаются в ценностях гостеприимства, взаимопонимания и диалога.

Во-вторых, лично для меня стало значимым прозвучавшее на форуме беспокойство о том, что ценности уважения к правам личности (основанные на равенстве людей перед Богом), которые являются базовыми для европейской цивилизации, в настоящее время теряют свою вдохновляющую, притягательную силу (об этом говорила, в частности, Катрин Лалюмьер). Полагаю, что одной из причин «обессиливания» этих ценностей является их нынешняя оторванность от «питательной почвы» — христианских корней европейской цивилизации. Этот отрыв — процесс во многом объективный, и сейчас сложно представить себе, что процесс «секуляризации» европейского общества будет обращен вспять, да и никто сейчас не ставит перед собой такой цели всерьез. Но эта ситуация таит в себе и немалый риск: идеал свободы или становится некой «блуждающей звездой», отвлеченным объ-

ектом, улавливаемым лишь в узком кругу энтузиастов-интеллектуалов, или предельно прагматизируется, обслуживая сугубо гедонистические ценности «общества потребления». В такой ситуации оторванные от своих основ, «сошедшие с ума» (Г.К. Честертон) высокие идеалы и ценности могут стать разрушительными — об этом свидетельствует пример французской и всех прочих революций. Эта тревожащая «беспочвенность» новой свободы сейчас становится, как мне кажется, важнейшим вызовом для европейской цивилизации, и одновременно творческой задачей, от успешности решения которой зависят во многом ее (цивилизации) перспективы.

Каким будет это решение и где выход из этой ситуации, я, разумеется, сказать не могу, но надеюсь, что благонамеренными гражданами и лучшими умами Европы, многие из которых собрались в том числе на берлинский форум «В поисках утраченного универсализма», он будет найден.

В целом на форуме импульс уважения и толерантности, исходящий от основателей и организаторов, задал тон для всего собрания, и в речах спикеров практически не было «антиклерикальных» банальностей даже в тех случаях, когда они вроде бы напрашивались по контексту (кроме единичных исключений). Более того (и это одно из самых приятных впечатлений от форума), хотя большинство участников были единомышленниками, при этом не ощущалось нетерпимости к иным подходам и мнениям, и такие подходы свободно звучали в ходе форума (хотя порой и вызвали ироническую усмешку авторитетных участников собрания). В этом смысле можно сказать, что провозглашаемые на словах идеологами Школы гражданского просвещения ценности диалога, гостеприимства, внимательности и взаимопонимания не расходятся с делами, что лично для меня является очень важным.

А по поводу упомянутых «единичных исключений» дерзну заметить, что, по моему мнению, агрессивный «антиклерикализм» (понимаемый как борьба с влиянием на общество любых церковных институций и религиозных нравственных ценностей) только запутает ситуацию и осложнит поиск решения стоящих перед нами задач. Хотелось бы полностью привести отрывок из Послания к Галатам, прозвучавший в программном тексте форума: «К свободе призваны вы, братия, *только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти*, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: любите ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом» (Гал. 5: 13–15). Не нужно «бить артиллерией по площадям» и, реагируя, скажем, на сиюминутные гримасы взаимоотношений власти с церковными структурами, пытаться выкорчевывать ствол, на котором выросла и расцвела европейская цивилизация (в том числе в ее восточноевропейской форме бытования).

И — last but not least — для специалистов в области социальных и общественных наук присутствие в течение нескольких дней в одной точке пространства такого количества маститых ученых, известных и начинающих общественных деятелей со всей Европы и постсоветского пространства — это настоящий клад.

С уважением и благодарностью к организаторам форума и всем, кто сделал возможным его проведение.

*Иван Улитчев,
кандидат богословия,
старший преподаватель Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного
университета, преподаватель кафедры
философии и религиоведения ЮФУ
(г. Ростов-на-Дону)*



*Родион Гаршин,
магистр философии,
г. Алма-Ата (Казахстан)*

(Российско-)украинский конфликт в свете дискурсивной этики Хабермаса

Всякий моральный и политический конфликт между людьми имеет эмоциональную подоснову. Когда предмет спора лежит глубже, чем простое расхождение прагматических интересов, когда дело касается некой идеи, принципа или отношения, то каждая из противоборствующих сторон считает себя обиженной, морально ущемленной, что усиливает эмоциональную сторону конфликта и делает рациональное аргументирование практически невозможным. Тогда вступают в силу законы психологии, а не логики — гораздо менее рациональные законы, и если сторонам не удастся рационализировать материю конфликта, то он не покинет замкнутый круг аргументации и продолжится до бесконечности. Это не того рода конфликт, который, по Р. Дарендорфу, является двигателем социального прогресса (как раз для этого он и нуждается в рационализации). И даже если в силу неких привходящих обстоятельств он будет эмпирически разрешен или приглушен, то, пока не найдено принципиального решения спора, стороны обречены испытывать враждебность.

Следовательно, в любом конфликте стороны нуждаются в общей отправной точке для достижения согласия, а масштабные конфронтации — в универсальных системах морально-ценностных координат, в рамках которых можно достичь некоего общего видения существа разногласий. Единственной, на мой взгляд, подходящей системой в моральной и социальной философии является концепция дискурсивной этики немецкого философа Ю. Хабермаса. В ее разрезе можно проанализировать любой личностный или социальный конфликт, в том числе и самое дебатированное в отечественных СМИ противостояние последних трех лет — конфликт в связи с Крымом и востоком Украины. Хочу подчеркнуть, что эта концепция подразумевает не правовой, а именно моральный ракурс раздора, то есть носит скорее философско-этический, чем позитивно-юридический харак-

тер. Мораль лежит глубже права, поэтому я считаю важным разобраться прежде всего этическую сторону проблемы. В том, что следует ниже, я применяю этическую концепцию Хабермаса как формулу, подставляя на место ее переменных обстоятельства российско-украинского противостояния. Решить же получившееся моральное уравнение я предлагаю самому читателю.

По Хабермасу*, мерой достижения согласия между участниками коммуникации является позиция «да» или «нет», принимаемая слушающим в отношении некой сути, выдвинутой говорящим. А утверждение говорящего, в свою очередь, притязает обычно на значимость в одном из трех аспектов, которые в нормальном повседневном общении переплетаются и различены не очень ясно: в объективном, субъективном и нормативном. Поскольку высказывания коммуникаторов претендуют либо на истинность изложения положения дел, либо на правоту в контексте легитимно упорядоченных межсубъектных отношений, либо на правдивость выражения переживаний внутреннего опыта. В случаях же устойчивого несогласия и проблематизации общения, по Хабермасу, можно тематизировать отдельные притязания на значимость, и сфокусироваться на том, в чем они могут быть сопоставлены, будь то что-либо объективное, нормативное или субъективное. При этом каждый из трех аспектов может быть сопоставлен в ракурсе двух остальных — ниже я дам пример такого сопоставления. Всякий раз, когда слушающий отвергает то, что предложено другим участником, его «нет» означает, что утверждение не достигает цели как минимум в одном из трех указанных аспектов. В случае Крыма и Донбасса нетрудно заметить, что большинство украинских граждан и международное сообщество не принимают речи российской стороны во всех трех выше названных модусах употребления языка.

Поскольку в любом анализе следует с чего-то начинать, я начну с обсуждения событий, которые послужили началом активной фазы противостояния, а именно — с присоединения Крыма и поддержки вооруженных антиправительственных группировок на Донбассе (как минимум информационной, что невозможно отрицать). Обратимся к высказываниям, призванным объяснить эти события от имени российского государства.

В аспекте объективного положения дел украинская сторона не принимает притязания на истинность, во-первых, утверждения, что государственная власть, установившаяся в Киеве после 22 февраля 2014 года, несла угрозу русскоязычным жителям Крыма и Донбасса или была неспособна защитить их от насилия, а также, что контроль над местными органами власти в этих регионах был взят исключительно силами местного населения, без участия вооруженных граждан России. Следовательно, в объективном плане обоснованность претензий зависит от истинности или ложности этих утверждений. Естественный путь прояснения их истинности состоит в подсчете количества русскоязычных граждан, пострадавших от

* Здесь и далее все ссылки на работу Ю. Хабермаса «Коммуникативное действие и моральное сознание» (1983) — СПб.: Наука, 2001.

постмайданной власти или ее бездействия в тех регионах Украины, которые остались под властью Киева после февраля 2014 года в первом случае, и в опросе свидетелей и участников событий в Крыму 20 февраля — 16 марта того же года.

Во-вторых, при сопоставлении в нормативном аспекте, с точки зрения украинских и международных официальных институтов лишенным нормативной значимости представляется сам факт проведения референдума по передаче Крыма в юрисдикцию РФ и отделения восточных регионов Украины без согласования с украинским государством и без подписания соответствующих международных документов. Легитимный порядок межсубъектных отношений с украинской точки зрения выглядит нарушенным также в плане морали тем, что имперски настроенное общественное мнение неофициально не признает за Украиной самостоятельности в выборе своего политического курса и руководства. А следовательно, и права на невмешательство в ее внутренние дела — ведь в представлении антиукраински настроенного обывателя смена государственной власти в Украине в 2014 году произошла в результате вмешательства США и западных стран, а значит, и российское вмешательство в украинскую политику нормативно оправданно. Этот вопрос частично возвращает нас к объективному аспекту выяснения того, насколько факт поддержки Запада реально повлиял на исход протестов в Киеве, учитывая, что в нормативном плане это обстоятельство вводит в поле обсуждения проблему правомерности такого влияния и его допустимых границах. Здесь путем открытой дискуссии можно было бы прийти к согласию относительно того, что, например, влияние с помощью гражданской «мягкой силы» допустимо, а военное вмешательство наоборот, неприемлемо, или что этичным является позитивный пиар, а негативный, «черный» пиар не является этически правильным; а затем путем сопоставления с объективным аспектом выяснить, какого рода влияние с чьей стороны имело место и насколько существенным оно было.

Таким образом, в нормативном аспекте возможность разрешения конфликта лежит на пути установления нормативной правильности или неправильности, то есть взаимного признания действительного права на самоопределение различных регионов вплоть до отделения, а также права активной части населения на протест и смену действующей исполнительной власти независимо от того, совпадает это с интересами каких-либо иностранных государств или противоречит им. Причем в силу правил реципрокальности (признания того, что противоположно мне) и равного применения норм правильности ко всем заинтересованным сторонам, которые являются аксиомами этики дискурса, обозначенные выше нормы должны применяться равным образом как к регионам Украины, так и к субъектам Российской Федерации, как к протестующим в Киеве, так и к повстанцам Донбасса и Луганска.

Правдивыми и подлинными, наконец, в третьем, субъективном, аспекте не признаются украинской стороной экспрессивные манифестации субъективно переживаемых патриотических чувств жителей Крыма и Донбасса, что они прониклись желанием единства с российским государством и

одновременно стали испытывать сильную неприязнь к украинскому обществу и власти, а также что жители этих регионов чувствовали реальное беспокойство в связи с возможностью появления на их территории военных баз НАТО — такие аргументы выдвигает пророссийская сторона в качестве оправдания своих действий в субъективном аспекте. Очень трудно судить об эмоциях, испытываемых другими людьми, — для достоверного суждения на этот счет необходимо довольно тонкое герменевтическое изыскание, но здесь мы можем прибегнуть к сопоставлению субъективного и объективного аспектов рассматриваемых высказываний для прояснения степени их правдивости.

Попробуем сфокусироваться на едином смысловом контексте, в котором можно было бы сопоставить и оценить притязания на значимость приведенных утверждений. Предположим, что какая-то часть жителей юга и востока Украины действительно могла испытывать патриотизм к российскому государству и неприязнь к украинскому, однако вопрос о том, насколько это большая часть, должен быть связан с вопросом, насколько эти патриотизм и неприязнь были вызваны реальным опытом. Если учесть, что подавляющее большинство граждан украинских регионов никогда не жили в Российской Федерации, а возможность испытывать патриотизм к государству (подчеркиваю, речь идет именно о патриотизме государства, а не общества), не живя в нем и не имея опыта взаимодействия с его институтами, выглядит довольно проблематичной*.

Кроме того, всплеск подобного рода чувств, выразившийся в митингах и шествиях, имел довольно спонтанный характер, и это обстоятельство дает повод усомниться в подлинности этой экспрессии — здесь уместно сопоставление с объективными данными о патриотических манифестациях этих же людей в предшествующие годы и месяцы. Релевантными для прояснения степени правдивости такого рода субъективных манифестаций были бы сведения о том, сколько людей в данных регионах выходили на митинги протеста против евроинтеграции Украины, за отделение от Украины или за вступление ее в Таможенный союз до возникновения кризиса в отношениях с центром.

То же самое с неприязнью к украинским властям и украинской государственности: эта неприязнь возникла слишком быстро, чтобы можно было поверить, что она естественного, а не искусственного происхождения. Этого рода аргументы не принимаются теми, кому они адресованы потому, что, по сути, новая власть в Украине, даже если бы хотела, еще ничего не успела сделать русскоязычным в этой стране, чтобы они стали испыты-

** Здесь пока нет завершеного научно-теоретического обоснования, но мы можем воспользоваться аналогией: например, если бы некий молодой человек подошел к девушке, от которой до этого держался на расстоянии, и признался ей в вечной любви, было бы его признание правдивым и достойным доверия? Между тем крымчане и жители Донбасса не могли иметь тесного общения с государственной властью России до того, как начали активно выражать ей лояльность. Если же вести речь о патриотизме общества, а не государства, то этот вид патриотизма не релевантен обсуждаемой проблеме, поскольку она касается отношения Крыма и Донбасса к российскому государству, а не обществу (связь с которым у этих регионов никогда не прерывалась).*



Макс Вебер. Час ник. 1915

вать к ней обоснованную неприязнь — этот момент вызывает сомнение в правдивости выражаемых пророссийски настроенными группами неприязненных эмоций или по крайней мере в правдивости приводимого их обоснования.

Если же кто-либо с более давних пор начал проникаться негативными чувствами к националистическим тенденциям государственной политики Украины, то подтверждением этому могли бы быть реальные свидетельства политических мотивов эмиграции этих лиц из Украины до рассматриваемых событий либо попыток в этот же период времени организовать на территории своего региона некое сепаратистское движение, легальное или нелегальное. (Здесь мы сопоставляем субъективный аспект с нормативным — если кто-либо ощущает несправедливость, он вправе разорвать

коммуникативные связи с ее источником и уж как минимум может публично апеллировать к неким легитимным этическим нормам, чему должны остаться документальные свидетельства.) Только то количество русскоязычных может считаться реально испытывающим нелюбовь к независимой Украине, которое было притесняемо в Украине по политическим или национальным мотивам на момент начала конфликта или участвовало в движении за отделение своего региона на протяжении хотя бы нескольких лет, и релевантными в этом аспекте являются также данные о проценте голосовавших за русские националистические партии в Крыму и Донбассе на выборах в местные и центральные законодательные органы Украины в последние годы перед возникновением конфликта.

В том же ключе могут быть проанализированы и приводимые в качестве аргумента опасения по поводу появления на территории Крыма военных баз НАТО — только реальный предшествующий опыт мог бы служить достаточным основанием и свидетельством правдивости этого рода беспокойства, в данном случае опыт взаимодействия с самим блоком НАТО. Без этого опасения данного рода выглядят возникшими из ничего. Посему в качестве объективного подкрепления своих оправдательных высказываний в этом плане говорящие могли бы привести прецеденты возникновения какой-либо нестабильности или волнений в тех регионах Европы, где базы НАТО появились ранее, а также увязать необходимой причинной связью акты вступления в НАТО и вступления в Евросоюз, которые являются совершенно разными организациями.

Поскольку я упомянул в начале статьи имя Ральфа Дарендорфа, сделаю еще замечание общего характера о том, почему этика дискурса представляется мне в данном случае гораздо более эффективной и состоятельной, чем традиционные конфликтологические модели. Это могло бы стать предметом отдельного исследования, но суть можно кратко выразить следующим образом. Конфликтология полагает конфликт как некое предельное и неустранимое состояние, а своей задачей ставит не разрешение конфликта, а раскрытие его позитивных, продуктивных сторон; однако такая методологическая установка может быть принята только ценой того, что само понятие конфликта искусственно ограничивается его неострыми и непринципиальными видами, не отличающимися высоким градусом эмоционального накала — «конфликт не должен быть войной, и не должен быть гражданской войной»*. Поэтому, когда конфликт перерастает в войну (гражданскую или гибридную), конфликтология может предложить лишь паллиативные меры, но не в состоянии проникнуть в его глубинные этические и психоэмоциональные истоки. В таких особо сложных ситуациях конфликта его стороны обычно принимают в отношении друг друга *объективирующую установку*, позицию отстраненного наблюдателя, которая упраздняет коммуникативные роли первого и вто-

* Дарендорф Р. *Элементы теории социального конфликта* // *Социологические исследования*. 1994, № 5. — С. 147.

рого лица и блокирует область моральных явлений как таковую — то есть оппоненты ставят друг друга вне морали и вне всякой договороспособности по спорному вопросу, отбрасывая любые попытки понять позицию другого. Этика дискурса же, в противоположность конфликтологии, строится на теории коммуникативного действия, а не конфликта, что дает ей преимущество в практическом, конструктивном плане. Она основывается на базовом принципе всякой коммуникации — взаимном признании права иметь отличную точку зрения и отличные интересы; там, где оппоненты входят во всевозможные клинчи, аргументативные кольца и тупики, она с помощью трансцендентальных доводов показывает им, что они пользуются такими средствами, которые должны быть устранены, впадая в результате этого в перформативное противоречие с самими собой. Дискурсивная этика Хабермаса в высшей степени убедительно, на мой взгляд, доказывает существование неустранимых предпосылок всякой аргументации — таких, которые мы вынуждены принять уже самим фактом участия в дискуссии. Ось ее нагрузки лежит на понятии морального дискурса как продолжении коммуникативного действия иными средствами, на понятии действия, ориентированного на взаимопонимание, в структурах которого уже предположены те отношения взаимности и признания (реципрокальность), вокруг которых вращается сущность феномена морали — не только морали философских учений, но и повседневной жизни.

В рассматриваемом нами случае конфликта, который унес уже десятки тысяч жизней, излишними будут любые способы его урегулирования. Но так или иначе, я считаю, все попытки интеллектуального оправдания действий как сторонников отделения украинских регионов, так и защитников территориальной целостности и политической самостоятельности Украины должны иметь своей целью и результатом не унижение и моральное ущемление какой-либо из сторон, а должны быть нацелены на выполнение тех коммуникативных действий, в результате осуществления которых воспроизводился бы общий для россиян и украинцев жизненный мир, а также на поиск общей для обеих сторон системы координат и смыслового горизонта, которые могли бы послужить основой для рационально мотивированного консенсуса.

Моим глубочайшим убеждением является также то, что все притязания на значимость, выдвигаемые сторонами во всех модусах языкового употребления, должны быть открыты для принципиальной критики и проверки, чтобы речевой акт мог состояться как удачный и слушающая сторона могла занять, хотя бы косвенно, утвердительную позицию по отношению к выдвинутому притязанию. Кроме того, говорящий должен быть готов безоговорочно применить к самому себе все те нормы и правила, которые он предлагает в качестве действенных своему собеседнику — в противном случае любая попытка интеллектуального оправдания неких действий будет не более чем беспринципным резонерством, грубо попирающим правила мышления и пользования собственным умом. Или (словами классика) это будет выглядеть как попытка разбойника, ограбившего человека, обосновать, почему и за что он его ограбил.

Этика в политике



*Эдвард Скидельски,
преподаватель Эксетерского
университета,
Великобритания*

Предложенная тема может смутить читателей. Обычно у нас в Англии рассуждение на эту тему воспринимается как лицемерная полуправда (ну, например, «честность — лучшая политика» или «тирания губит себя сама») или «откровения» циников у стойки бара с напитками («политика — грязное дело», «главное — знать своего врага», «кто кого» и т.д.).

Мне хотелось бы обойти стороной две эти истоптанные тропы, так как считаю, что у политики собственная этика, которая отличается, а иногда и вступает в конфликт с этикой частной жизни. У этой этики четыре грани, которые я попытаюсь рассмотреть с помощью четырех философов — Макса Вебера, Бернарда Уильямса, Стюарта Гемпшира и — разумеется! — Никколо Макиавелли.

1. Политики обязаны принимать во внимание возможность непреднамеренных последствий своих поступков

Первый принцип политической этики вступает в прямой конфликт с христианской догмой, требующей от нас добродетельных поступков вне зависимости от последствий. Христианская мораль велит нам отказаться от поста в коррумпированном правительстве, хотя занять пост, от которого отказались мы, может злостный взяточник. Христианин строгих правил задумчиво, но бесстрастно наблюдает за сложностями и бедствиями, которые он может вызвать своими добродетельными поступками. На *нем* нет никакой вины, пока он стоит на пути добродетели. «Уклонися от зла» — вот его принцип.

Ни один политик не может себе позволить такого отношения к жизни. Политику не только не запрещается задумываться о последствиях своих действий, но он

просто обязан их просчитывать, это его первейший долг — перед вверенным ему народом, а не перед Богом или неким абстрактным нравственным законом. Максима политика — это скорее изречение первосвященника Каиафы, который предал Христа римлянам со словами: «лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтоб весь народ погиб» (Ин. 11: 51).

Описанное противоречие стало темой знаменитой лекции Макса Вебера 1919 года «Политика как призвание». Вебер был либерал. Его заботил вопрос о защите хрупкого послевоенного порядка Германии от угрозы коммунистической революции. При этом он осознавал, что традиционный немецкий либерализм с его абстрактным легализмом ничего не может противопоставить конкретным дилеммам власти, с которыми столкнулись он и другие немецкие либералы. Таким образом, политическая арена оставалась открытой для безумного идеализма, для самой циничной разновидности *реалполитик* или же для какой-нибудь малоприятной комбинации двух этих течений. Либералы, чтобы выжить, должны были преодолеть свою традиционную аполитичность и выработать позитивную этику государственного управления.

Лекция Вебера балансирует между двумя противостоящими друг другу моральными установками, которые он называет «этикой убеждений» и «этикой ответственности». Человек убеждений действует без расчета, из доброты своего сердца. Если его постигнет неудача, то вина лежит не на нем, а на глупых и безрассудных людях мира сего. *Он* поступил правильно — вот все, что для него имеет значение. Над ним легко посмеиваться, но у него великие предтечи — Христос, Будда, Святой Франциск. Вебер с искренним уважением относится к этим «великим виртуозам акосмиче-

ской любви к человеку и доброты... Их царство “не от мира сего”, и все-таки они действовали и действовали в этом мире, и фигуры Платона Каратаева и святых Достоевского все еще являются самыми адекватными конструкциями по их образу и подобию».

Этике убеждений противостоит «этика ответственности». Человек ответственный принимает мир таким, какой он есть, с его амбивалентностью и греховностью. Он считается с последствиями своих действий для жизни людей совершенно разных, отличных от него самого, и несет за это ответственность. Он не считает, что чистота его помыслов извиняет неудачу. Именно такой подход к жизни, утверждает Вебер, уместен в политике. Так, политического деятеля должна занимать в первую очередь не чистота его души, а благо общества, и политик должен быть готов к тому, чтобы его судили соответственно.

Вебер не стремится утвердить превосходство одной из этих двух систем этики. Он — плюралист, а не монист; он признает существование ряда источников морального обязательства. Вот почему политика представляется ему трагичным делом. Этика ответственности вынуждает политика принимать решения, которые непростительны с точки зрения этики убеждений. Подобно гражданам Флоренции, которыми восхищается Макиавелли, политик должен ставить величие родного города превыше спасения своей души. Возьмем пример из недавней истории. Большинство людей восхищаются Михаилом Горбачевым за отказ бросить армию на подавление демократических шествий и демонстраций. Мы полагаем, что такое поведение характеризует его как человека. Однако отсроченным (хотя и не вполне непредсказуемым) последствием такого отказа стал развал Советского Союза, годы нищеты и гангстерства и его последствий. Дэн

Сяопин в 1989 году принял кардинально иное решение*, после чего Китай на протяжении 28 лет испытывал стабильность и экономический рост. Был ли прав Дэн Сяопин? Есть ли на этот вопрос однозначный ответ?

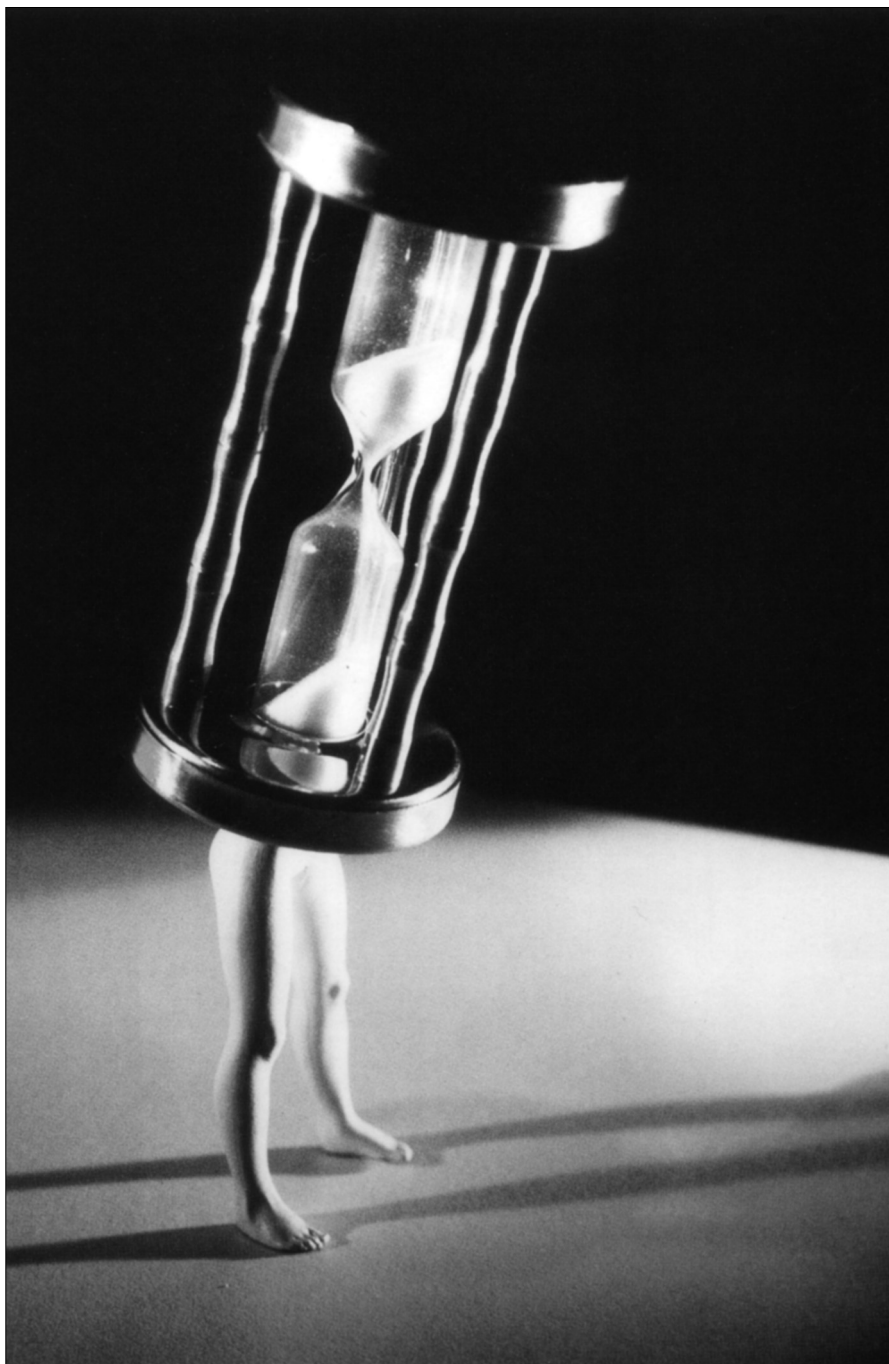
В действительности, объектом критики Вебера в «Политике как призвании» выступают не последователи чистой этики убеждений — к ним, как мы убедились, он испытывает большое уважение, но скорее те люди, которые пытаются перенести этику убеждений в политику, то есть в царство ответственности. Адепт этики убеждений должен, если он последователен, полностью отказаться от политики. Он должен следовать путем Христа или Будды. Человек, вступающий в политику, тут же подчиняется, осознанно или нет, ее нравственной логике. «Всякий, кто заключает пакт с силой по той или иной причине (а это делает каждый политик), целиком зависит от последствий такого пакта». Если последствия катастрофичны, то нет смысла апеллировать к чистоте его помыслов. Вебера особенно разъярило то, что в ноябре 1918 года германский политик-социалист Курт Айснер опубликовал ряд дипломатических документов, бросавших тень на намерения Германии в 1914 году. Публикация дала врагам Германии основания для заявлений о так называемой вине за развязывание войны, усугубляя унижение немцев и ненависть к ним в Европе. Айснер оправдывал свой поступок апелляцией к абсолютному долгу говорить правду, что, с точки зрения Вебера, представляло собой непростительное вторжение этики убеждений в сферу политической ответственности. Как политик, Айснер обязан был понимать, что его первейший долг —

добиваться почетного и длительного мира, чему его публикация могла только помешать.

Однако если морализм глупцов — это один типичный порок «политика убеждений», то другая крайность — воинственный фанатизм. Доведенный до безумия упрямством мира, который постоянно отвергает его благородные замыслы, такой политик прибегает к насилию. «Люди, только что взывавшие к “любви и ненасилию”, уже в следующую минуту к насилию прибегают. Речь неизменно идет о самом последнем акте применения силы, после которого насилие прекратится навсегда — точно так же наши военачальники говорят солдатам, что каждое наступление станет последним», — пишет Вебер. Нет нужды говорить — оно никогда не бывает последним. Ведь для того чтобы осуществить свои представления о справедливом устройстве общества «политику убеждений» необходим «аппарат», а этот аппарат вскоре начинает требовать обычных привилегий и почестей. Так механизм власти вечно воспроизводится — и тем более неотвратимо, что мы не признаем за ним подобной закономерности. «После эмоционального подъема революционных дней приходит обычная серость, герой веры исчезает, да и сама вера испаряется (для многих это тем удобнее), превращаясь в казенные фразы политических филистеров и дельцов». Уже в 1919 году Вебер ясно различал феномен, который впоследствии вырос в сталинизм.

Смещение этики убеждений и ответственности по-прежнему свойственно части нашего общества; возможно, оно вообще присуще демократической политике. Современные политики убеждений, нам на удачу, ближе к Айснеру, чем к

* Подавление массовой акции протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года. — Прим. ред.



Лори Симмонс. Идущие часы. 1989

Сталину, и в большей степени тяготеют к лицемерию, чем к кровавой уголовщине. Но возьмем показательный пример Тони Блэра. На конференции Лейбористской партии в 2004 году Тони Блэр сказал следующее об иракской кампании: «Я осознаю, что этот вопрос разделит общество. Я вполне понимаю позицию несогласных. ...Считаю ли я, что прав? Суждения не тождественны фактам. Инстинкт не научен. Я, как и всякий человек, могу ошибаться. Я знаю только то, во что верю». Я лично не вижу причин сомневаться в искренности этого заявления. Блэр, возможно, действительно верил в то, что свержение Саддама — это благое дело. Но в политике сила и твердость убеждений значат мало. Значимы успех или поражение. Если Блэру хочется получить отпущение грехов за свои стратегические просчеты, ему необходимо обратиться к духовнику. Прощения он не найдет ни у британской общественности, ни у историков.

Еще одна, родственная предыдущим черта «политики убеждений» состоит в том, что человеку «нравится цель, но не средства». Фиаско в Ираке вновь служит здесь наглядным примером. Рори Стюарт, вице-губернатор иракской провинции Майсан после окончания военной кампании, в 2007 году опубликовал книгу мемуаров, в которой содержатся следующие обличительные строки: «Большинство политиков государств — участников коалиции... полагали, что Ирак может стать одновременно безопасным и демократическим. Между безопасностью и жестокостью или правдой и болью, утверждали они, нет зависимости. Они полагали, что в тайной полиции нет необходимости; пытки дают эффект, обратный желаемому; контролировать толпу можно эффективно, но гуманными методами; наконец, старые, неповоротливые, жестокие и непопулярные в обществе силы безопасности можно заменить

высококвалифицированной, легко вооруженной и благожелательной к гражданам полицейской службой.

Отчасти по этой причине коалиция распустила армию, уволила всех баасистов с руководящих позиций и ликвидировала службы безопасности и разведки. Полиции было запрещено иметь тяжелые вооружения или создавать секретные подразделения. Британские наставники иракских полицейских рассуждали о развитии нового чувства ответственности на госслужбе, а один даже обсуждал со мной возможность проведения психометрических тестов для высших офицеров и семинаров по гендерным вопросам с участием всех сотрудников».

Тезис Стюарта состоит в следующем: свергнув Саддама, коалиция де-факто приняла на себя ответственность за поддержание порядка в Ираке. На практике это означало сотрудничество с баасистами и готовность закрывать глаза на некоторые из их методов. Понятно, почему многие политики на Западе протестовали против этого. Но что в таком случае они делали в Ираке? Невозможно стремиться к некоей цели и в то же время отказываться от единственно возможного способа ее достичь.

2. Репутация политика во многом зависит от неподвластных ему событий

Веберовскому «ответственному» политику может не хватать цельности, но он по меньшей мере тщательно просчитывает возможности. В реальной политике, однако, мы часто восхищаемся рискованными или даже безрассудными решениями при условии благоприятного исхода. Отказ Черчилля пойти на мир с Гитлером в 1940 году воспринимается как акт величайшего мужества — но только потому, что Великобритания победила в войне.

Этот счастливый конец был предопределен двумя колоссальными, причем непредсказуемыми ошибками Гитлера: вторжением в Советский Союз и объявлением войны Америке. Более того, столь же непредсказуемое решение Гитлера уничтожить европейских евреев укрепило, в исторической перспективе, моральное величие позиции Черчилля в 1940 году. Если бы Гитлер оставался безраздельным хозяином континентальной Европы и если бы его режим оказался менее зловещим и смертоносным, о Черчилле, вполне возможно, думали бы как о безумном игроке, а не как о великом правителе военного времени.

На репутации политика сказывается как невезение, так и удачливость. Дэвида Кэмерона навсегда запомнят как политика, прошедшего референдум по вопросу отношения к Евросоюзу, на котором он потерпел поражение. Но в то время, когда британский премьер-министр объявил о проведении референдума, он имел все основания думать, что выиграет. Поражение на референдуме можно объяснить двумя непредсказуемыми факторами: во-первых, неспособностью лидера оппозиции убедительно выступить в защиту объединенной Европы и решением ряда ключевых фигур партии тори поддержать брекзит. Референдум о членстве в ЕС выглядел в глазах Кэмерона хорошо просчитанным риском, а не безумной авантюрой. Однако в итоге он проиграл, и поражение навсегда определило его политическую судьбу и репутацию.

«Нравственная удачливость», как еще называют этот феномен, не ограничивается политикой. В той или иной мере такая относительность, подобно инфекции, проникает во все наши действия. Философ Бернард Уильямс приводит пример художника Гогена, который бросил жену и детей ради жизни в искусстве на островах Полинезии. Мы склонны прощать Гогену недостойное поведение,

так как он стал великим художником, однако тезис Уильямса состоит в том, что в то время он не мог знать, что станет великим художником. Он мог стать, к примеру, лишь посредственным художником. Он мог умереть в пути. Нравственный статус его поступка зависел от цепи последующих событий, предвидеть которые он, конечно, не мог. То же справедливо в отношении многих важных жизненных решений.

Непреложен тот факт, что «нравственная удачливость» особенно значима в политике, и на то есть две причины. Во-первых, политика, коль скоро она охватывает гораздо более широкую сферу, чем личные дела и отношения, соотносится и с гораздо большим числом событий и процессов, которые могут привести к неблагоприятному или, неожиданным образом, благоприятному исходу. Траектории причинности здесь так разветвлены, что не поддаются исследованию. Политика — это главным образом царство Фортуны, ветреной дамы Макиавелли. Философ Стюарт Хемпшир пишет: «В обычных обстоятельствах частной и профессиональной жизни человек, с известной степенью уверенности, рассчитывает на то или иное развитие событий. Этого невозможно сказать о политике, как отмечали все видные деятели, начиная с Фукидида. Острота политического опыта, которую некоторые находят соблазнительной, а другие — отталкивающей, состоит в борьбе с фортуной, в которой власть может быть завоевана или потеряна в результате определенной реакции на внезапный поворот событий. Сложно переоценить разрыв между “добродетелью” политического обозревателя или теоретика, с одной стороны, и “добродетелью” правителя или политика у власти, то есть человека, обладающего реальной властью. Даже очень хороший историк неспособен с достаточной полнотой изобразить безумный поток не-

определенности, в котором обычно принимаются судьбоносные решения».

Но следует отметить и другое. Политики ищут оправдания в суде общественного мнения, а публика судит на основе реальных успехов и побед, заслуженных или незаслуженных. Публике вообще-то безразлично, *заслужил* ли Черчилль победу над Гитлером, а Кэмерон — поражение на референдуме. Эту малоприятную человеческую черту можно оплакивать, но нам вряд ли удастся ее изменить. Как сказал Макиавелли: «Чернь прельщается видимостью и успехом, в мире же нет ничего, кроме черни» (перевод Г. Муравьевой).

3. Факты частной жизни политика малозначительны с точки зрения общей оценки его деятельности

У многих видных исторических фигур была бурная личная жизнь. У Джона Кеннеди, за время его недолгого пребывания в Белом доме, было множество романов (в том числе с Марлен Дитрих и Мэрилин Монро). Защитника прав чернокожих Мартина Лютера Кинга тоже не назвать образцом супружеской верности. Те из нас, кто питает к этим деятелям почтение, не станут думать о них *намного* хуже только из-за их грешков. И напротив, покажется вполне абсурдным приводить доводы в защиту Гитлера: «Что ж, у него по крайней мере была нормальная половая жизнь». По сравнению с его политическими преступлениями эта оценка не значит *ничего*. Хотя мы можем предать политика остракизму потому, что его личные привычки противоречат его публичным заявлениям, в таком случае мы выступаем против самого этого противоречия, а не против личных привычек.

Мои слова можно отнести не только к политике, но и к другим областям человеческих свершений. Как отмечает Бернارد Уильямс, мы склонны прощать Гогену

его непорядочность по отношению к жене и детям. Мы к тому же в целом благосклонны к Артуру Кестлеру, автору романа «Слепящая тьма» (1940), хотя в отношениях с женщинами он был бессовестным хищником. Я не хочу сказать, что большие свершения *извиняют* низости в частной жизни. Прелюбодеяние и похотливость столь же отвратительны в случае Кеннеди и Кестлера, как и в общем случае, но их перевешивают (если можно так выразиться) достоинства этих людей. То есть в конечном счете «нравственное сальдо» выходит положительным. Для большинства людей добродетельность в роли супруга, родителя или коллеги — это высшая мера добродетели; часто человеку больше не в чем себя проявить. Однако если сфера личной ответственности гораздо шире, то личные триумфы и слабости человека обладают пропорционально (но не абсолютно) меньшим значением.

Возможно, такой взгляд на вещи присущ именно современной западной цивилизации. Так, в императорском Китае личные недостатки и слабости (скажем, любопытствие или отсутствие почтения к старшим) могли послужить причиной отставки чиновника с занимаемой должности или воспрепятствовать его продвижению по службе. Похоже, западное общество тоже начинает движение в этом направлении. Сочетание вездесущей прессы и феминистской «мантры» о том, что «личное есть политическое» сделало нас гораздо любопытнее и побудило более критично относиться к частной жизни политиков и общественных деятелей. Все же наиболее вдумчивые и беспристрастные из наблюдателей *по-прежнему* судят о политиках главным образом в свете их общественной, а не частной жизни — за исключением тех случаев, когда они совершают противозаконные действия или, как я уже говорил, когда их поступки вступают в прямое противоречие с речами.



Марио Сирони. *Ритмическая композиция*. 1952 (1953?)

4. Великий политик *использует* свои добродетели во благо общества

Согласно классической теории нравственности у добродетели нет иной цели, кроме самой себя. Даже если напрасными оказались все усилия, добродетель, по прекрасному определению

Канта, будет сиять по-прежнему, «как драгоценность, как нечто, обладающее самостоятельной ценностью». Политик не имеет права на такую возвышенность мировоззрения. Для него добродетель — это прежде всего способ достижения главной цели — власти и славы для себя и своего народа. Ему недостаточно *быть*

добродетельным. Он должен *представляться* добродетельным, впечатляя своими достоинствами других. Он должен даже, по словам Макиавелли, действовать *недобродетельно*, если того требуют обстоятельства: «...тот, кто отвергает действительное ради должного, действует скорее во вред себе, нежели на благо, так как, желая исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь с множеством людей, чуждых добру. Из чего следует, что государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением смотря по надобности».

Макиавелли хорошо известен доводами в защиту предательства и убийства во имя государственной власти. Но при этом он превозносил и милосердие, и щедрость, и благочестие, причем не столько ради нравственного сияния этих качеств, сколько за их способность порождать благодарность и верноподданические чувства в других. Ему было прекрасно известно о пользе своевременного и точно рассчитанного акта великодушия. В «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия» он вспоминает эпизод из истории осады римлянами этрусского города Фалерии. Местный школьный наставник, который учил детей благородных фалерийцев, пытаясь заслужить милость римлян, привел во вражеский лагерь своих учеников и предложил их в качестве заложников. Римский полководец Камилл был так разъярен этим актом предательства, что дал юношам розги и приказал им гнать учителя обратно в город. Благодарные и потрясенные великодушием Камилла жители Фалерий тут же сдали город римлянам. Макиавелли пишет, что этот случай «служит отличным примером того, как акт человечности и доброты производит большее впечатление, чем жестокость или насилие; и как города, в которые невозможно было

проникнуть посредством войны, осады или иного проявления человеческой силы, сдавались под воздействием человечности и доброты, сдержанности или великодушия».

Правда, Макиавелли обходит вниманием то обстоятельство, что в основе «акта великодушия» Камилла вполне мог лежать расчет. Камилл (сообщает Тит Ливий) незадолго до этого взял штурмом близлежащий город Вейи, где он предал мечу все взрослое мужское население и обратил в рабство женщин и детей. Граждане Фалерий, вне всякого сомнения, страшились такой участи, что только усиливало их решимость сражаться до конца. Осознавая, что среди важнейших мотивов защитников города — страх, Камилл рассудил, что демонстрация милосердия позволит ему одолеть Фалерии скорее, чем военная сила. Порядочность в рассматриваемом случае была правильной политикой. Но случись ему столкнуться с врагами иного склада, Камилл, вполне возможно, принял бы коварное предложение школьного наставника.

История двадцатого века изобилует примерами такой, с позволения сказать, «макиавеллиевой добродетели». Шарль де Голль, безусловно, был человеком незаурядного личного и политического мужества. Но ему была присуща и склонность к срежиссированной *демонстрации* мужества в политических целях. Например, он настоял на проведении парада победы в Париже 26 августа 1944 года, когда в городе еще орудовали снайперы вишистского правительства. Парад завершился в соборе Парижской Богоматери. При этом присутствовал корреспондент радио Би-би-си:

Генерал выходит к народу. Его встречают... они открыли огонь!.. везде слышна стрельба... Генерал де Голль направился прямо в гуцу... расправив плечи, он шел прямо по центральному нефу, а вокруг него свистели пули. Никогда боль-

ше я не наблюдал такого невероятного проявления мужества!

Все это может показаться бездумным проявлением «мачизма»: де Голля могли с легкостью убить. Но можно ли вообразить более впечатляющий способ явить согражданам и всему миру величие вновь освобожденной Франции? Голлистский миф основывался, по существу, именно на таких спектаклях, а не на великих военных победах.

Примером добродетельного последователя Макиавелли может служить и Нельсон Мандела. Нет никаких сомнений, что он был исключительно мужественным и великодушным человеком. Но был он также жестким, хитроумным политиком, использовавшим личные добродетели для утверждения своего морального авторитета в тюрьме и за ее стенами. «Он был прежде всего великим политиком, вплоть до того, что ему удавалось управлять своим образом-иконой», — писал Ахмат Дангор, глава Фонда Нельсона Манделы. Мандела хорошо понимал это сам. «Я не бог и не пророк, но мне нужно вести себя таким образом», — сказал он одному посетителю-иностранцу в конце 1980-х.

Отношение Манделы к членам правительства апартеида и к белому населению в целом воспринимается как замечательное проявление его великодушия. Но помимо всего прочего это был блестящий *политический* маневр, без которого, как писал архиепископ Десмонд Туту, «страна исчезла бы в огне». Переговорная позиция Манделы после его освобождения из тюрьмы была тщательно просчитана. Он осознавал, что режим апартеида держался не на убеждениях, а во многом на страхе перед местью со стороны черных жителей страны, и что поддержка режима ослабеет, как только белые поймут, что черные проявят сдержанность.

Тем не менее Мандела продолжал упоминать об опасности насилия и о присущей только ему способности умерить его, добиваясь от президента ЮАР Деклерка одной уступки за другой. В этом смысле Мандела был своего рода Камиллом современности, проявляя доброту по отношению к белым, которые при других обстоятельствах стояли бы против него до конца. Как и в истории Камилла, великодушные Манделы оказались эффективным только потому, что его поведение оттеняла возможность насилия.

Примеры де Голля и Манделы призваны показать нам, что политики могут действовать достойно и великодушно и при этом эффективно. Добродетель не обязательно ведет к мученичеству. Но в политике ей должны сопутствовать и хитрость, и твердое знание социальных реалий. Политика — не место для мечтателей. (Даже Иисус наставлял своих учеников, чтобы были они «мудры, как змеи, и просты, как голуби».) И хотя политики иногда сталкиваются с ситуациями, в которых они не могут действовать эффективно, не идя против совести, можно надеяться, что подобные обстоятельства будут исключительны, а не привычны.

Такие мысли представляются особенно своевременными теперь, когда на мировой сцене господствуют деспоты и демагоги. Ведь есть опасность, что в подобную историческую эпоху люди порядочные с отращиванием отвернутся от политики. Однако, поступив таким образом, они, конечно, уступят политическое пространство негодьям. В конечном счете нам необходимо знать, что честная политика возможна, не ожидая от нее слишком многого.

*Перевод с английского
Марка Дадяна*

Анатомия Левиафана*

Термин «Анатомия Левиафана» заимствован мной из книги английского философа Томаса Гоббса, который исследовал общественное устройство, позволяющее людям жить вместе, не убивая друг друга. Как известно, Гоббс придерживался взглядов противоположных тем, которые позднее выражал Руссо. Руссо считал, что человек рождается добрым, что в нем есть врожденная добродетель, которая потом искажается или портится социальной средой. Позиция Гоббса была совершенно противоположной. Он считал, что человек действует в собственных интересах и не только не склонен жить в мире с окружающими, а, напротив, скорее склонен с ними враждовать и даже убивать. И чтобы этого не происходило, нужны какие-то специальные инструменты.

В этой связи я хотела бы напомнить, что тот Левиафан, под которым обычно подразумевают государственное устройство, рассматривался Гоббсом не как некое чудовище, а скорее как некоторый инструмент прогресса. Левиафан — это следующая стадия развития человечества после той, которую Гоббс называл *natural state of man* (естественное состояние человека). Это естественное состояние, с его точки зрения, — не золотой век, не пастушеская идиллия, а война всех против всех. Преодоление этой стадии как раз и свидетельствует о появлении Левиафана. То есть возникновение некоторого общественного устройства, которое позволяет людям взаимодействовать, одним управлять другими и, в общем, поддерживать некую производительную жизнь в очерченных границах.

В известной книге канадско-американского ученого и популяризатора науки Стивена Пинкера «Добрые анге-



*Екатерина Шульман,
специалист по проблемам
законотворчества,
кандидат политических наук*

* Выступление на международном семинаре Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы в Белграде 22 сентября 2016 г.

лы нашей природы» на статистических данных доказываемся стабильное снижение уровня насилия в мире, в особенности в течение последних 70 лет, то есть после окончания периода мировых войн XX века. Уровень военной агрессии снижается. Государства становятся все менее людоедскими, снижается уровень насилия в отношениях людей между собой. Пинкер приводит семь причин снижения насилия. Не буду их перечислять все, назову лишь первую — это как раз Левиафан, то есть организованное централизованное государство.

Почему централизованное государство является инструментом снижения насилия? Потому что оно монополизирует насилие и делает его легальным инструментом.

В чем разница между легализованным и нелегализованным насилием? Казалось бы, не важно, бьет вас полицейский или бьет вас хулиган в подворотне. Но циничные политологи говорят, что первое лучше. Хотя самой жертве иногда это бывает трудно объяснить. Государство, монополизируя насилие, во-первых, ставит его в некие рамки закона, которые само себе задает. Кроме того, развиваясь и прогрессируя, государство постепенно снижает даже тот уровень легализованного насилия, которое оно применяет внутри тех границ, где у него есть полномочия. Мы видим, что и смертная казнь применяется все меньше, и уголовный закон (если рассматривать мир в целом) становится менее жестоким. Гуманизация пенитенциарной системы тоже стоит в ряду факторов, смягчающих насилие.

Нелегальное, неорганизованное насилие склонно распозаться. Поэтому сценарий гражданской войны, то есть войны всех против всех (опыт показывает, что это так) — более губительный, чем сценарий войн государств между собой. Последствия гражданской войны заживают дольше, они более длительны по влиянию, которое оказывают на поколения людей, чем межгосударственные конфликты.

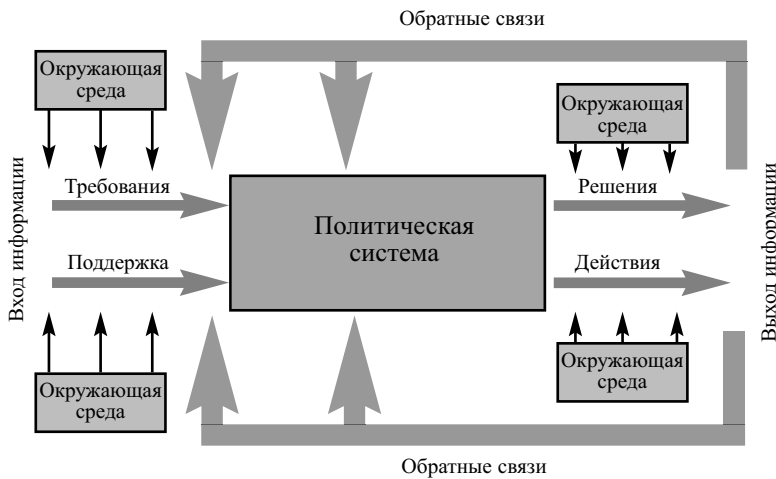
Уровень и количество межгосударственных конфликтов, повторюсь, в общем, снижается. Известен принцип, по которому демократии не воюют между собой — это принцип номер один. Принцип номер два — демократии не побеждают в тех войнах, которые они ведут.

Таким образом, Левиафан — это не чудовище, которое мы должны победить. Это явление, которое мы должны изучать. Он тоже, если мы подразумеваем под ним государство, склонен прогрессировать и развиваться, становиться с течением времени несколько менее ужасным. Это то, что питает исторический оптимизм.

Теперь что касается анатомии...

Тут уместно прибегнуть к модели политической системы по Дэвиду Истону. Что она собой представляет?

«Черный ящик» в середине — это политическая система. Она погружена в общественно-политическую среду. У нее есть «вход» и «выход». На входе — запросы или требования, исходящие из общественно-политической среды. Внутри системы происходит трансформация запроса в политическое решение. Это решение выходит из системы и вовлекается обратно в общественно-политическую среду.



Это и есть так называемый черный ящик по Дэвиду Истону — схема политической системы, нарисованная еще в 50-е годы одним из ведущих американских политологов.

Что происходит дальше? Попадая в социально-политическую среду, решение вызывает реакцию разного типа. Слева на схеме выделена «поддержка». На самом деле реакция может быть любого типа — это может быть поддержка, может быть протест, отрицание, это может быть восхищение, что угодно. Реакция преобразуется в новый запрос по каналам обратной связи и попадает обратно внутрь «черного ящика» — политической системы, которая ее перерабатывает и снова выдает политическое решение.

Эта картинка напоминает известное изображение змеи, кусающей свой хвост. Процесс этот бесконечен: запрос преобразуется в решение, решение вызывает реакцию, реакция генерализует новый запрос, и так до бесконечности. Пока политическая система воспринимает запросы и преобразует их в решения, она функционирует в общественно-политической среде. Когда система перестает выполнять эту функцию, она разваливается.

Как в этой схеме выглядит failed state (недееспособное государство)? Оно функционирует плохо, дорого, медленно, у нас к нему множество претензий. Если общественно-политическая среда адресует запросы общества не в «черный ящик» системы, а, например, к организованным преступным группировкам, к этническим объединениям, к каким-то союзам соседних стран, это означает, что политическая система нефункциональна.

Одно уточнение ради чистоты политической науки. В схеме Истона на «черном ящике» написано «политическая система». Это не государственная система. Эти два определения не идентичны.

Почему я обращаю на это внимание? Потому что если мы прибегаем к метафоре Левиафана, то речь идет о политической системе, в которой государство доминирует.

В таком государстве политическая система приватизирована группой интересов и поэтому не является государственным аппаратом в том смысле

ле, как он понимается в странах демократии. Эта политическая система поглощена государством, которое доминирует в политике и в экономике посредством приватизации, национализации ресурсов, раздачи ренты, покупки лояльности как элит, так и граждан посредством таких инструментов, как государственные корпорации и государственные банки, поддержки неадекватно большого бюджетного сектора. В такой сфере подавляющее большинство людей свой хлеб насущный добывает тем или иным способом из средств государственного бюджета. Государство доминирует также в медиасфере посредством огосударствления и контроля средств массовой информации.

Что нам важно знать и понимать, глядя на приведенную схему? Общественно-политическая среда обыкновенно транслирует свои запросы к «черному ящику». Однако в принятых нами условиях государства Левиафана она почти никогда ни к кому их не обращает, даже когда ее проблемы и задачи могли бы быть более эффективно решены не государством. Но она все равно обращает их к государству, которое преобразует их в решения. Особого внимания заслуживает поток с надписью «обратные связи».

Схема Истона отображает в принципе особенности политической системы любого типа — авторитарной, демократической, тоталитарной. Она универсальна. В чем в таком случае разница между различными моделями? Она в том, насколько система открыта для запросов, и чьи именно запросы она воспринимает. Открытая политическая система воспринимает широкий круг запросов, исходящих от широкого спектра общественных акторов — от граждан, политических групп, партий, меньшинств.

Чем больше политическая система закрыта, тем меньше в нее попадает запросов. Авторитарная (или тоталитарная) политическая система склонна воспринимать сигналы почти исключительно от самой себя. Бюрократия разговаривает сама с собой. Сигналы воспринимаются от тех, кто и так уже находится внутри «черного ящика». Внешнюю общественно-политическую среду эта замкнутая система склонна воспринимать как угрозу. Путь к безопасности и выживанию она видит в том, чтобы максимально изолироваться от внешней среды. Таким образом, в закрытой политической системе есть проблема с каналами обратной связи, с тем, как она видит, слышит и понимает, что именно происходит за пределами «черного ящика».

Что это за каналы, какие они? Их много, самых разных. Я выделила бы три основных, хотя, на мой взгляд, могут быть и другие критерии классификации. Попытаюсь объяснить, почему я считаю их таковыми.

Первый канал — выборы. Какие? Регулярные, конкурентные и многоуровневые. Все три признака являются чрезвычайно важными.

Почему выборы являются каналом обратной связи? Я сейчас даже не беру в расчет такую их функцию, как ротация, смена власти. Выборы — лучший вид соцопроса. Они показывают, кого именно люди готовы поддерживать, какой набор проблем их действительно интересует, насколько вообще они доверяют политической системе. Показатель этого — явка.

Это не линейная зависимость, когда все плохо — явка низкая, а если лучше — она выше. Здесь другая зависимость. Сверхвысокая явка — это ведь тоже признак некоего излишнего общественного напряжения, которое может быть деструктивным.

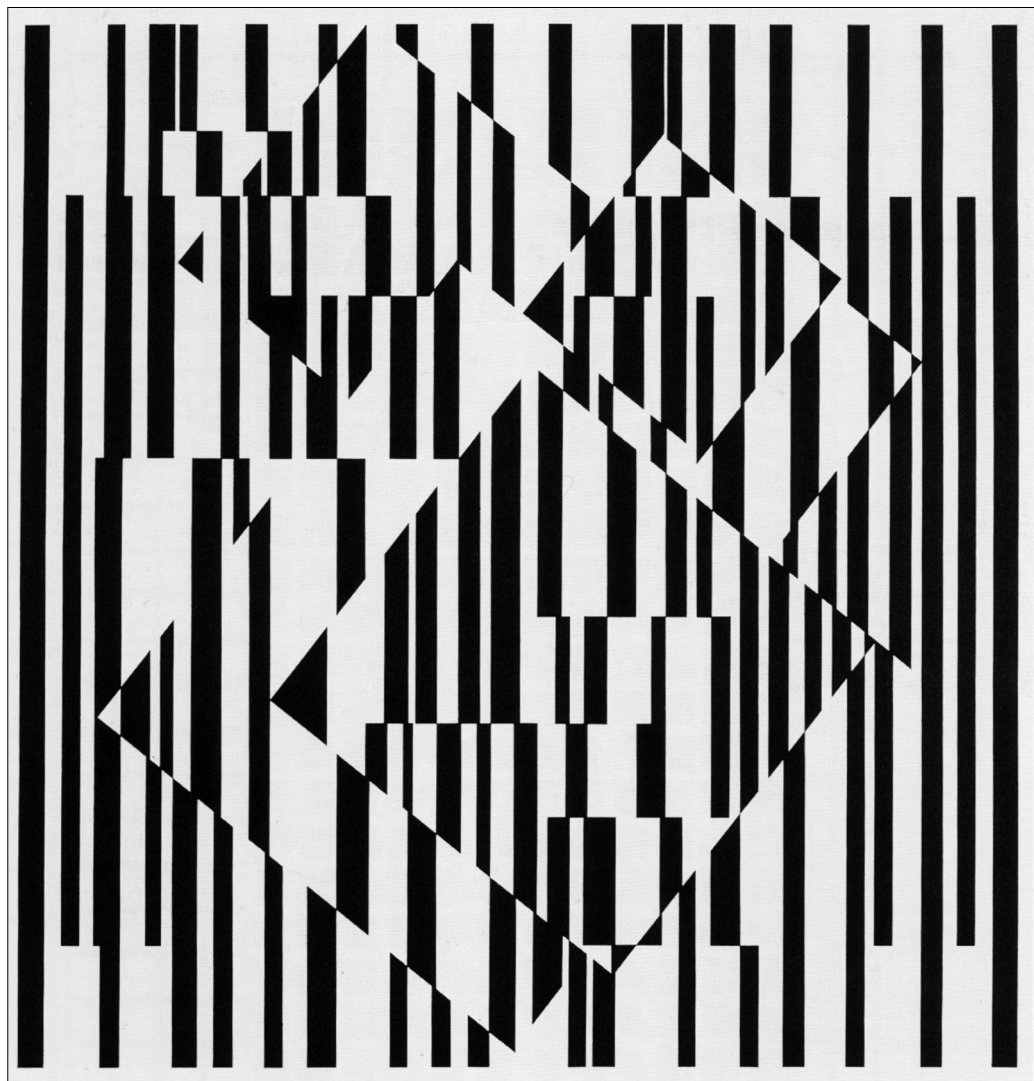
Почему важны три признака, которые я назвала: регулярность, конкурентность, или свобода, и многоуровневость? Если выборы проходят раз в 10 лет, то такой интервал не позволяет своевременно реагировать на значимые изменения в социуме. Выборы должны проходить с адекватной периодичностью регулярно, чтобы вовремя корректировать социально-политическую среду. Свобода и конкурентность — это более или менее понятно. Если выборы устраиваются с ограниченным числом кандидатов, которых власть сама же отбирает, то это имитация процесса. И многоуровневость. Самые важные выборы — это выборы муниципальные. Вторые по значимости — региональные. Там власть наиболее близка к людям, известны проблемы, которые затрагивают их в реальной жизни, люди смотрят власти в глаза. На уровне федеральном люди голосуют за образ, за бренд, за некую политическую идею, на уровне местном — за проблематику.

Второй важный канал связи политической системы — деятельность общественных организаций, свободная гражданская активность. Почему деятельность третьего сектора является еще и каналом обратной связи? Потому что она показывает, какие именно вопросы волнуют людей настолько, что они не просто готовы прийти проголосовать, но и готовы участвовать в их решении. Общественные организации, которые возникают и начинают успешно работать, наглядно демонстрируют, что их работа является необходимой. Значит, они делают то, что людям действительно нужно. Но чтобы эту функцию выполнять, деятельность гражданских организаций должна быть абсолютно свободной. У нас же они подвергаются государственному административному прессингу, а с другой стороны создаются так называемые ГОНГО (Government-Organized Non-Governmental Organization) Созданные государством неправительственные организации — по сути, номинальные структуры для получения бюджетных грантов, и их общественно-полезная роль фактически равна нулю.

Третий канал — средства массовой информации. Я с удовольствием добавила бы «независимых СМИ». Но этот термин является во многом условным и оценочным, поэтому правильное определение — разноразличных, плюралистических средств массовой коммуникации. То есть медиа, которыми владеют разные собственники, что если и не гарантирует, то создает конкурентную среду для плюрализма.

Почему это важно? СМИ, в особенности на местном уровне, если они не субсидируются государством и находятся в конкурентной среде, больше зависят от своего потребителя — слушателя, зрителя, читателя. И соответственно должны рассказывать и показывать то, что людей интересует, выполняя тем самым свою общественную функцию.

Разумеется, можно сказать, что средства массовой информации всегда демонстрируют ту картину, которую желает владелец. Поэтому важно, чтобы владельцы были разные. Если же все медиапространство контролируется одним владельцем, то СМИ выполняют функцию зеркала. Они демонстри-



Вазарели. От-от. 1955

руют власти его собственное слегка отретушированное лицо. Таким образом, их функционал как средства обратной связи тоже является искаженным. Что в результате мы видим? Каналы обратной связи либо сломаны, либо искажены. Информация или не поступает, или поступает в искаженном виде. Политическая система герметизируется, закрывается от внешних воздействий. Вместо того чтобы смотреть в окно, она смотрит в зеркало. Как это отражается на принятии решений? Политическая система принимает запросы от самой себя, она не видит и не слышит реакцию социально-политической среды, в которой находится. Это последствие номер один. Последствие номер два — снижение качества принятия решений. Закрытая система не только не слушает общественное мнение, она недоступна и для экспертизы. Почему? Потому что независимая качественная экспертиза является ценностью только в условиях политической конку-

ренции, когда она может быть одним из инструментов победы в этой конкурентной борьбе. Если система замазала все швы герметиком и никого не видит и не слышит, то у нее нет никакого стимула привлекать экспертов. Соответственно качество принятия решений неизбежно снижается.

Я это вижу на примере своего непосредственного предмета изучения — законотворческого процесса. Только конкуренция между акторами, играющими на этом поле, способна повысить качество законотворческого продукта.

Можно в этой связи коснуться темы качества и количества принимаемых решений.

Когда мы говорим, что демократическая система воспринимает широкий спектр запросов, то из этого следует, предполагаем мы, что и количество и качество решений будут выше и приниматься они будут быстрее, потому что система открыта.

А вот закрытая система воспринимает только отдельные запросы чрезвычайной важности, от особо весомых акторов, и мы склонны думать, что там внутри происходит сложный и серьезный неторопливый процесс обсуждения, и решения система выдает поэтому медленно и продуманно. Причем этому, мол, способствует в том числе и устойчивое большинство в парламенте, что предохраняет систему от популизма демократической модели.

Однако на самом деле все происходит с точностью до наоборот.

Политическая система становится конкурентной именно в силу открытости. Там все торгуются со всеми. Соответственно и проведение любого решения — это непростой процесс взаимных договоренностей и достижения компромиссов. У этой модели принятия решений тоже есть оборотная сторона. Она состоит в том, что сложность компромисса бывает настолько велика, что принятое решение порой может носить лишь рамочный характер, то есть договариваются на некоем нулевом результате. А как это происходит в закрытых системах?

В авторитарной политической системе, в закрытом «черном ящике», количество поступающих запросов бывает не меньше, но оно исходит от других акторов, от других групп интересов. И им внутри «черного ящика» практически уже ничто не противостоит. Будучи сами частью этой системы, они могут любой свой запрос превратить в решение очень быстро. Советоваться не с кем, спрашивать незачем, торговаться не нужно. Это фундаментальная причина того, что наш парламент сделался «бешеным принтером» в механизме ускоренного законотворчества.

Тем не менее эта схема работает не всегда. Наступает следующий этап, который мы наблюдаем после недавно избранной Госдумы.

Смотрите, условные бульдоги выгнали с площадки всех других собачек. Остались только самые мощные, и ни один из них не может победить другого, потому что они все часть стаи (системы). Но каждый может заблокировать каждого. На этом этапе авторитарной системы политическая конкуренция заменяется борьбой кланов. Межведомственная конкуренция, внутриведомственная, межклановая, внутриклановая борьба, война групп интересов являются суррогатом политической конкуренции. Это не демократия, а некий конкурентный механизм, который не позволяет повысить качество принимаемых решений.

Например, пресловутый пакет Яровой в своем первоначальном виде представлял собой конгломерат из пожеланий очень разных силовых структур, плюс минимальная фантазия инициаторов. Там были наряду с пожеланиями ФСБ и Совета безопасности, пожелания кавказских силовых структур, исходя из их представлений о том, как должен выглядеть уголовный кодекс. Кто-то захотел институционализировать некоторые практики анти-террористической деятельности. Кто-то решил, что Интернет — это зло и надо его запретить.

Так что пакет Яровой — это не один закон, это набор изменений в самых разных законодательных актах, в уголовном кодексе, в законе об экстремизме, в законе о связи и др. Там было много интересного, что не дошло до финального чтения. В процессе обсуждения пакет был, естественно, поправлен. Например, там был знаменитый пятилетний запрет на выезд за рубеж тем, кто имеет «предупреждение» от ФСБ. Были требования к операторам сотовой связи и интернет-провайдерам хранения трафика в течение трех лет. Потом этот срок был сокращен до шести месяцев. Даже пресловутая статья «за недоносительство» была несколько подчищена и ограничена до террористических преступлений, хотя одновременно был расширен их состав.

Почему текст, который был принят, не получился хорошим? Это плохой закон, дорогой, трудноисполнимый и нереалистичный набор требований. Это случилось в результате того, что при обсуждении положений пакета началась борьба силовиков за то, кто именно будет № 1 в применении закона. И второй фактор, который тоже не надо сбрасывать со счетов, — общественное мнение. Шум поднялся такой, что наиболее токсичные его положения, как, например, запрет на выезд, все же убрали.

Таким образом, мы видим, как две силы — общественное мнение и межведомственная и внутриведомственная борьба — позволяют худо-бедно смягчать контуры тех решений, которые принимает наша лишенная каналов обратной связи политическая система.

Как же тогда ей удастся учитывать общественное мнение? Ведь должна же она как-то это делать, если хочет знать, что происходит. Система наделена неким коллективным разумом, который озабочен вопросами выживания и самосохранения. Для этого ей надо знать, что происходит в обществе, и она употребляет очень своеобразные, иногда экзотические инструменты. Например, такие как довольно уродливый культ примитивно понимаемых рейтингов — прямое следствие отсутствия здоровых работающих каналов обратной связи. Загадочные опросы ФСО (Федеральной службы охраны), которые проводятся в глухой тайне. Причем она не просто их проводит, а еще и выявляет точки социального напряжения, хотя это функция канала обратной связи.

Почему ФСО проводит опросы? Причина понятная. Была, как известно, в нашей административной системе такая структура, как ФАПСИ — Федеральное агентство, которое обеспечивало безопасные каналы связи для высших государственных чиновников, и оно же занималось проведением исследований общественного мнения. Но в результате одной из административных реформ ФСО поглотила ФАПСИ и стала не только

поставлять кадры для губернаторов и высших должностных лиц, но и исследовать общественное мнение.

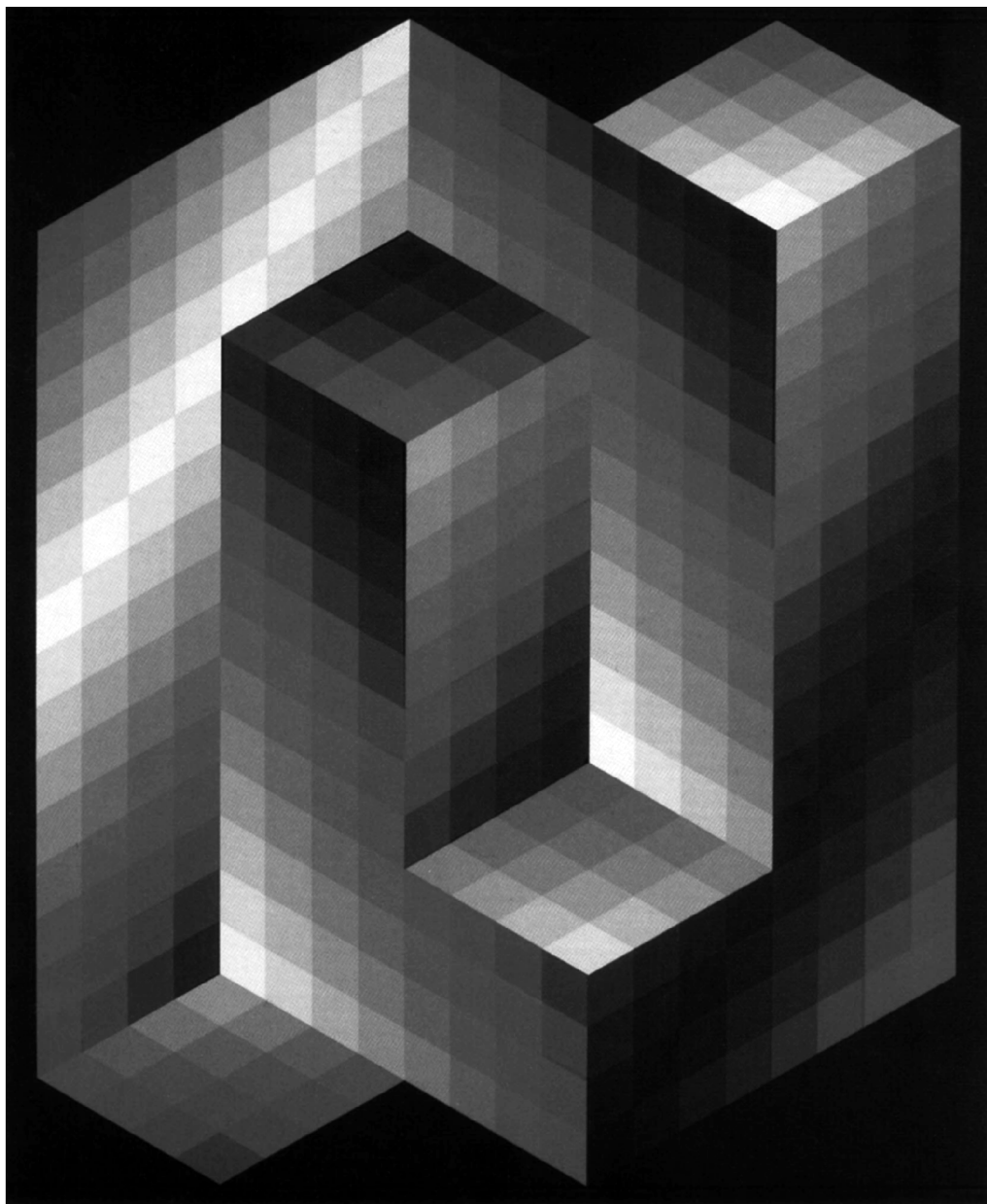
Так или иначе, власти надо знать каким-то образом, что там снаружи происходит. Но выборы фактически отменили, СМИ под контролем, независимые общественные организации затравили, поэтому изобретаются другие способы.

Влияет это на повышение качества принимаемых решений? Разумеется, нет. Когда решение Думы выходит, как Афина из головы Зевса, в общественно-политическую среду, оно имеет вид часто совершенно неожиданный не только для граждан, но и для тех, кто его принимал. Поскольку важными условиями принятия многих решений оказываются скорость и секретность, решение надо принимать быстро и без особого шума. Зачем это делается, я не знаю. Но в результате решение часто имеет странный вид и действует так, как от него не ожидали — в том числе и те, кто его инициировал и принимал. Соответственно после принятия оно уже нуждается в немедленной корректировке. Это то, что я наблюдала в законодательной практике. Принятие закона — не конец разговора и не решение проблемы, это приглашение к началу ее решения...

Напомню о пресловутых продуктовых контрсанкциях. Решение принималось быстро и неожиданно. Принималось оно в два этапа. Сначала вышел указ президента, в котором говорилось, что в ответ на плохое отношение к Российской Федерации ввоз некоторых групп товаров из некоторых стран будет ограничен на некоторое время. В указе не было никаких деталей о товарах, из каких стран и на какое время вводится эмбарго. Все это будет вам, граждане, разъяснено в постановлении правительства. Это тоже, кстати, чрезвычайно характерный для нашего механизма принятия решений прием — передача ответственности вниз по бюрократической пирамиде все ниже и ниже. Закон адресуется к подзаконному акту, а он — к следующему подзаконному акту. Решения сменяют друг друга, постоянно пытаются улучшить друг друга, но не сильно с большим успехом.

Это похоже на то, как действует демократическая политическая система. Поскольку гибридные политические системы, подобные нашей, искажают либо пародируют, или повторяют по-своему, или только имитируют такую систему.

Может быть, в этом можно разглядеть некоторую надежду, потому что тоталитарные модели являются принципиально другими. Там и экономическая модель другая, и социальная структура другая. Они античеловечны по своей природе. Многие из присутствующих здесь могут со мной не согласиться, но тоталитаризм — это не ухудшившийся авторитаризм. Это нечто принципиально иное. Это идеологизированная, строго централизованная политическая система, которая не способна адаптироваться, а может только развалиться. Авторитаризм же во всех своих видах более гибок. Собственно говоря, большинство населения Земли живет при гибридных режимах. Не при демократиях и не при тоталитарных моделях, которые практически исчезли с лица земли, а при различных формах авторитаризма, которые сдвигаются худо-бедно, как-то дрейфуя в сторону демократизации. Они не прогрессируют, не развиваются, способны выпол-



Вазарели. Иццо-22. 1969

нять задачу выживания, воспроизводят сами себя. Это тоже правда — этот порочный круг «неэффективного правления». Они слишком стабильны. Тем не менее если они эволюционируют, то скорее в демократическую сторону. Это полезно помнить не для того, чтобы сказать, что все у нас хорошо и больше ничего не надо делать, а чтобы все-таки находиться в контакте с реальностью и видеть в соотношении и в динамике те сложности, перед которыми мы сегодня стоим.

Вопросы и ответы

Давид Меладзе, юрист группы компаний ЭСА, Тверская область:

— По поводу законотворческого процесса, который вы изучаете. Качество нормативных актов у нас с каждым разом все хуже и хуже. В связи с этим вопрос: как вы считаете, из-за чего это происходит?

Екатерина Шульман:

— Основную причину я назвала — отсутствие политической конкуренции. Единственный способ повысить качество принятия решений — создание конкурентной политической среды.

Что такое конкурентная среда? Это избранный репрезентативный парламент. Парламент, отражающий реальный расклад общественных интересов, в котором политические группы используют в качестве инструмента конкуренции общественное мнение и помнят о своей ответственности перед избирателем. Вот, собственно говоря, и все.

Да, и еще один интересный фактор, о котором я упомянула, но, может быть, чуть подробнее о нем расскажу. Это диффузия ответственности в бюрократической пирамиде. У нас, в отличие от латиноамериканских, персоналистских авторитарных систем, не распространено то, что называется указным правом, когда основной круг государственных вопросов решается главой государства. В России все реализуется посредством федеральных законов. Основной единицей нашего правового поля является федеральный закон. Это одна из причин того, что их так много принимается: каждое значимое движение в поле реальности считается необходимым прописать, отрегулировать именно в федеральном законе.

В этом даже есть свой плюс. Какой-никакой законотворческий процесс есть процесс публичный. И парламент, какой он ни есть, всегда будет более открытой структурой, чем структура исполнительной власти. Тут есть хоть какой-то отрезок времени для прохождения законодательного акта, который освещается хоть как-то. И в это время можно громко закричать и попытаться иногда даже (а такие случаи есть, были и будут) что-то остановить или что-то поправить.

Но федеральные законы, которые в таком количестве принимаются, часто становятся, как я уже сказала, рамочными, или тем, что называется у юристов бланкетной диспозицией. Это, грубо говоря, такой правовой акт, который отсылает к другим правовым актам. Значительное количество законов недееспособны не сами по себе, потому что их нельзя выполнить, а потому что они могут действовать только в случае принятия подзаконных актов. А что такое подзаконные акты? Это нечто, что принимается структурами исполнительной власти — постановления правительства, ведомственные инструкции, приказы.

Наша с вами правовая бюрократическая пирамида носит перевернутый характер. По идее, при правильном раскладе, на вершине должна быть конституция (документ прямого действия), под ней федеральные, конституционные законы, а еще ниже — обильное нормотворчество исполнительной

власти. У нас происходит нечто обратное. У нас актом прямого действия является ведомственная инструкция, и она гораздо более значима, чем федеральный закон, и уж тем более — чем конституция. Как она у нас действует напрямую, многие пробовали: 31 числа собирались мирно, показывали, что на эту тему в конституции написано, но как-то никого это не впечатлило.

Довольно большая часть злоупотреблений, в том числе страшных, происходит в отделениях полиции или в судах не потому, что там сидят кровавые садисты. И не потому, что судьи хотят всех закатать навеки. А потому, что люди стремятся к соблюдению отчетности и к выполнению инструкций. У нас ради этого пытаются, убивают, сажают не за дело, чтобы отчет был красивым, чтобы апелляции не пришло, чтобы соблюсти ведомственный порядок.

Сошлюсь на исследование Эллы Панеях о ценностях. Когда она спрашивала судей, что такое ценность, они отвечали — закон. А когда разбираешься, выходит, что их ежедневная деятельность направлена на то, чтобы соблюсти ведомственные порядки. Чтобы не поссориться с прокурором, не допустить такого решения, которое будет оспорено, сделать себе хорошую отчетность. И так происходит практически со всеми бюрократическими актами. В полиции иногда убивают не потому, что там сплошь садисты, упивающиеся своей безнаказанностью. Нет, им раскрываемость нужна. И ради нее они стараются.

Екатерина Маяковская, колумнист Информационного агентства Zasekin.ru, Самарская область:

— Вы наверняка читали про 62,2%, которые набрала «Единая Россия» в Саратовской области на 100 избирательных участках. Насколько такие сигналы, как 106% в Мордовии пять лет назад и 62,2 в этот раз, действуют на общество. И почему на этот раз не случилось протеста, хотя, мне кажется, масштаб фальсификаций был не меньше?

Екатерина Шильман:

— Я не специалист по избирательным фальсификациям, но, глядя с точки зрения политической системы на то, что произошло, вижу следующее. Была поставлена цель достижения легитимности новой Госдумы. Эта цель важна для системы по ряду причин. Сейчас не будем в них углубляться, скажу лишь, что было целеполагание, включающее в себя, во-первых, изменение законодательной рамки: введение смешанной системы, увеличение числа кандидатов. Это было направлено на то, чтобы сделать парламент более представительным. И во-вторых — смену руководства ЦИКа и активное формирование картины честных выборов.

Задача состояла в том, чтобы не допустить повторения сценария 2011 года. Причем не только протестов как таковых. Я думаю, они понимали, что протестов не будет — ситуация все же другая. Подействовало и репрессивное давление государственной машины, которая достаточно эффективно сработала. Боялись не протестов, не массового выхода на улицу, а опасались сомнений в легитимности выбираемого парламента не только со стороны общества, но и недоверия внешних партнеров.

Эта Дума важна. Во-первых, она будет работать во время президентских выборов. Ее электоральный цикл 2016–2018 годы. И второе — появились новые субъекты Федерации — Крым и Севастополь, которые впервые участвовали в выборах, и им надо было продемонстрировать лояльность к РФ.

Есть ощущение, что это не очень получилось по двум причинам. Во-первых, низкая явка на выборах не демонстрирует всенародной поддержки. Нет всенародной поддержки, потому что с накидом и то как-то мало. И второе. Думаю, что власть в центре не сумела объяснить территориям, как надо себя вести. Вот и случился некий парад суверенитета в том смысле, что территории не желают слушать, что им говорят из Москвы. Им надо провести побольше своих депутатов в Думу, потому что это касается выбивания денег из бюджета.

А федеральный Центр получил парламент, про который пока трудно сказать, будет ли он более легитимен, чем парламент 2013 года. Сейчас надо следить за тем, что будет происходить в ближайшее время.

Елена Егорова, продюсер независимой программы, Москва 24 ТВ, Республика Чувашия:

— Если мы представляем политическую систему в виде чудовища, то как вы описали бы людей, которые правят этой системой? И какими вы видите механизмы взаимодействия граждан с этим чудовищем, учитывая, что правовая система, суды, средства массовой информации не всегда эффективны.

Екатерина Шульман:

— Обитатели системы — это акторы, которые паразитируют на ресурсах. Они не производят ничего, они распоряжаются ресурсами в рамках тех административных и силовых возможностей, которые у них есть. Как с ними общаться и взаимодействовать? Как продвинуть в систему свой запрос и получить на выходе нечто осмысленное?

На формы взаимодействия граждан с государством влияет как система ценностей, так и демографическая картина. Если мы рассмотрим российскую демографическую пирамиду, то увидим, что у нас население пожилое. Основная демографическая страта — люди старше 40 лет. У нас нет того, что называют «демографическим навесом» — такой ситуации, когда страта людей 20 лет и старше больше, чем все остальные. У нас же навес другого типа — люди после 40. И это влияет на те способы, которыми они себя выражают. Наше общество чрезвычайно склонно к тому, что называется легалистским протестом, то есть выражением несогласия законными методами. Если вы обратили внимание, то даже массовые протестные акции 2011–2012 годов приняли форму разрешенных митингов против нарушения закона. У нас общество на стороне закона, а государство на стороне нарушения закона. Общество ловит государство за руку и обвиняет его в жульничестве. А государство твердит о своей непогрешимости и уходит от ответственности.

Легалистский протест — обращение в суды, разрешенные митинги, петиции и написание жалоб в бесконечных количествах — достаточно дей-

ственный метод. Он не такой эффективный, как булыжник — оружие пролетариата, но, во-первых, свойствен нашему населению, которое, еще раз, не молодое, в основном городское, в основном образованное. Этим людям и на митинги ходить-то не очень удобно. А вот в суд прийти, опять же жалобу написать, подписать обращение — это нормально. Можно и на юриста скинуться. Это больше людей зажигает, чем скандирование хором. Надо признать, что в этой методе есть своя эффективность. Поскольку государство у нас бюрократическое, то и воздействовать на него надо бюрократическими методами. Это один набор инструментов.

Второй набор — публичность. Власть всюду боится публичности, стремится к закрытости, избегает прозрачности, чувствует себя уютно в «черном ящике».

Когда я говорю о деятельности общественных организаций, о том, как им добиваться успеха, в том числе и во взаимоотношениях с властью, я исхожу из того, что нужны три условия. Первое — организация, наличие структуры. Если вы не организованы, вас не существует, у вас нет субъектности. Второе условие — юридическая помощь, готовность и возможность пользоваться юридическими инструментами. Третье — это публичность, доступ к СМИ — либо напрямую через социальные сети, либо опосредованно через официальные медиа. Ни одно из условий не работает по отдельности. А три вместе, взаимодействуя, позволяют если не решить проблему сразу, то продвинуть ее решение.

Урсула Маевска, «Мечты и ремесло», Дом социальных инноваций, Польша: — У меня два вопроса. Что сегодня вызывает страх у россиян? Какое состояние доверия в обществе по отношению к власти? И как влияет на государство социально-политическая среда?

Екатерина Шульман:

— По поводу страха. Вообще российское общество — это общество страхов. И российская политическая система в качестве топлива в первую очередь использует именно эту эмоцию. У нас существует торговля страхами. Продажа угроз — лучший вид бизнеса в России. Собственно, поэтому у нас силовики и оккупировали политическое пространство, они наиболее эффективно это делают — фабрикация и продажа угроз, спекулирование на страхах управленческого аппарата и населения.

Из этой же системы ценностей мы видим, что у нас ценности сбережения и безопасности доминируют радикально над ценностями прогресса и развития. Ценности безопасности являются приоритетными для человека, у которого не сформировано чувство базовой безопасности.

Как говорят детские психологи, главное в первый год жизни ребенка — сформировать чувство базовой безопасности. Это его уверенность в том, что все будет хорошо, а если что-то случится, то тебе помогут. Если у ребенка это чувство не сформировано, он испытывает проблемы с развитием.

В социуме та же картина. Если сообществу не хватает чувства позитивной перспективы, то оно развивается очень плохо. Люди сидят на своем мешке

с гречкой и ни к чему не стремятся, им не до прогресса. В этом смысле существует сходство между обществом и государством — от президента до последнего неудачника все мы испытываем свои страхи. Кто боится НАТО, кто фашистов, которые на первых же свободных выборах победят, кто голода или холода...

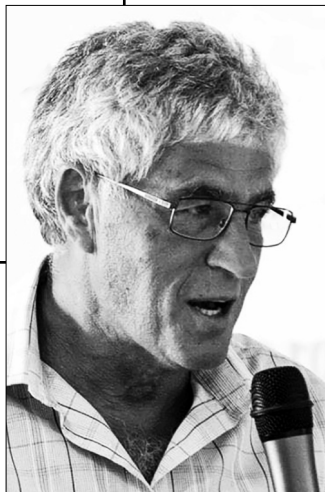
Как это лечится? Хорошим питанием и отдыхом, мирной жизнью. К сожалению, медленно. К сожалению, эхо предыдущих потрясений возвращается. Точно так же, как на демографической пирамиде, о которой я говорила, приблизительно каждые 20 лет мы видим появление новой выемки. Это неродившиеся дети того поколения, которое было выбито в 30–40-х годах XX века. Они не родили детей, их дети не родили детей и т.д. К счастью, с ростом этой демографической «елки» выемка становится меньше.

Теперь к вопросу о том, как влияет на Левиафана внешняя среда. Мы говорили, что система боится изоляции и одновременно работает на изоляцию. Никаким однонаправленным движением эта система не описывается. Система изолируется для того, чтобы выжить. И она боится изоляции, потому что это угроза для ее выживания. Это касается как изоляции индивида от общества, так и изоляции общества от внешней среды.

С одной стороны, несмотря на глобализационные процессы, возникает культ суверенитета. Это странное понятие, каждый вкладывает в него свое понимание. Обычно подразумевается возможность делать внутри государства что хочешь, не оглядываясь на внешний мир. Но это утопия. Такого рода суверенитета не существует. Ни одна страна им не обладает. Потому что все страны мира связаны со всеми густой сетью экономических, финансовых, культурных, исторических связей.

У нас считают, что США обладают суверенитетом, потому что их мощь им это позволяет. На самом деле их могущество основано на связанности со всеми и на связанности всех с ними. Поэтому в определенном смысле они обладают как раз минимальным суверенитетом. Максимальным, наверное, обладает Северная Корея, но, судя по тому, что нам известно, она просто содержится соседним Китаем. К тому же это больше похоже на изоляцию, чем на суверенитет. Такого рода странные государственные образования обычно являются проектом какого-то своего большого соседа, который по своим причинам почему-то их содержит. Еще можно привести примеры, но они несколько более обидные. Воздержусь...

Точно так же, как невнимательно и плохо Левиафан прислушивается к обществу, точно так же с нервным вниманием он реагирует на внешние раздражители и вызовы. Значительная часть его действий, которые выглядят как агрессия, являются на самом деле приглашением к диалогу. Кажется, что это агрессия, а на самом деле — стремление стать частью процессов любой ценой — в качестве помехи, спойлера, трикстера, как угодно, но мы должны быть на каждой свадьбе невестой, на каждом похоронах покойником. Мы почему-то гордимся, когда становимся предметом внимания, даже скандального. Мы готовы на совершенно неадекватные затраты и усилия, лишь бы присутствовать на празднике и как-то не изолироваться.



*Леонид Гозман,
политик, президент
Общероссийского
общественного
движения «Союз правых сил»*

*Есть ли у России шанс?**

Я понимаю, что это весьма претенциозное название темы, но именно в этом и состоит главный вопрос, а не в том, как обстоят дела в стране в разных областях. Можно говорить об этом детально: можно рассказывать, как именно плохо в экономике, в экологии или в национальных отношениях. Это важно, но скорее для узких специалистов. Главный вопрос, который волнует граждан — тех из них, кто чувствует себя гражданами, — это как из этого места, откуда и днем видны звезды, можно выйти? Иными словами, есть ли у России шанс?

Для меня лично показателем того, насколько все сейчас не так, как мы рассчитывали, является то, что в программе «Демократического выбора России» в 1994 году было сказано: к 2017 году наша страна будет полноправным членом Европейского союза и будет готовиться к вступлению в НАТО. Тогда мы действительно в это верили. Уже давно будущее в нашей стране окрашено тревожными тонами. Выдающийся русский поэт Олег Чухонцев писал:

...Верно, в пору стоячей воды
равновесия нет и в помине,
и предчувствие близкой беды
открывается в русской равнине.

А сейчас это сменилось катастрофическими предчувствиями, напоминающими ситуацию столетней давности и слова Владимира Маяковского:

...В терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

Как и метеорологи, политологи и поэты ошибаются только в сроках.

** Выступление на международном семинаре Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы в Белграде 24 сентября 2016 г.*

Тогда, 100 лет назад, многие люди ждали революцию с надеждой. Сейчас большинство нормальных людей понимает, что если это случится, то, наверное, будет еще хуже.

Я не буду говорить о том, что происходит. Все, в общем, известно — и про финансово-экономическую ситуацию, и про социалку, и про бюджет фактически воюющей страны, и про эмиграцию. Я буду говорить о том, почему это происходит и что можно делать.

Неадекватность элит и неадекватность населения

Есть две редко проговариваемые проблемы — неадекватность элит и, простите, неадекватность большинства населения. Сначала об элитах. Я понимаю под ними не столько творческую интеллигенцию, сколько управленческие элиты. Вот они неадекватны. Коррупция есть везде, даже в Швейцарии, но это не сильно успокаивает. Потому что если в условной Швейцарии коррупция является определенной смазкой государственного механизма, то у нас она этот механизм разрушает и блокирует, не говоря уже о разрушении в обществе остатков нравственности.

Но это — общее место. Есть еще одна проблема, которую трудно выразить научными терминами — они не воспитаны! Вспомните квартиру начальника таможенной службы, которую показали во время обыска. Там золото на мраморе, она ничем не отличается от квартиры арестованного накануне вора в законе. Люди с таким вкусом, которым нравятся такие квартиры, на мой взгляд, не должны управлять государством. Я не верю в способность человека, которому нравятся часы за 100, 500 тысяч долларов и такие квартиры, управлять страной в интересах страны, а не в своих собственных.

Еще одна проблема наших элит состоит в том, что они отвечают исключительно перед верхушкой власти, а не перед людьми. Путина ругали за то, что он назначает своих охранников губернаторами. Казалось бы, а что тут плохого? Вы секретаршу не возьмете на работу, если вы ей не доверяете. Вот он и ставит губернатором того, кому верит абсолютно. Это нормально. Плохо другое. Пост губернатора у нас зависит от того, доверяет ли ему президент, и не зависит от того, доверяют ли ему люди. Когда ставят губернатором того, кому доверяют, — это совершенно правильно. Только ставить должен не верх, а низ. Если все только сверху, то и ответственность перед верхом. Неизбежно выстраивается соответствующая система приоритетов, отвечающая задаче сделать хорошо начальству. Ну а благо людей — это уже по личной склонности и энтузиазму. Жизнь, безопасность, карьера зависят только от того, кто наверху.

Еще одна проблема — доминирование во власти менталитета спецслужб. Я сейчас даже не про то, что Федеральная служба безопасности является наследником известного кого, что у них в кабинетах висят портреты Дзержинского. Спецслужбы — это очень специфическая работа. Она, конечно, нужна. В нормальной стране нужны нормальная спецслужба и агентура, и агентурная сеть — это абсолютно необходимая для страны работа. И люди, которые это делают, заслуживают вознаграждения, и уважения. Но это работа, которая меняет человека. Это всегда работа над законом и вне закона.

По какому закону убили бен Ладена? (Хоть и правильно, с моей точки зрения, сделали, что убили, — как говорил Солженицын, «Волкодав прав, а людоед нет»). По какому закону ведется агентурная работа? Когда подкупают кого-то —

это что, закон? Нет, конечно. Это необходимо? Да. Но у человека, который делает эту необходимую для страны работу, искажается картина мира, в результате он не доверяет никому, он доверяет только своей корпорации.

И наконец, у наших элит очень короткий горизонт планирования. Они не думают о дальнем будущем. И поэтому у них не работает механизм репутации, поэтому можно врать, рассказывать про распятого в Киеве мальчика и про придуманные протесты во Франции. Бога нет, и все позволено? Будущего нет — и все позволено! Потому что репутация — это институция будущего. Если впереди у тебя и твоих детей долгая жизнь, это заставляет человека вести себя достойно. А если будущего нет, можно вести себя как угодно.

Неадекватность населения — еще большая проблема, чем неадекватность элит. При этом я имею в виду не генетическую или цивилизационную неадекватность; дальше я постараюсь показать, что как раз с точки зрения генотипа русский народ исключительно одарен. Я говорю о том мироощущении и массовом сознании, которое сформировано на сегодняшний день.

Во-первых, это феодальное сознание. Обратите внимание, как проваливаются все коррупционные скандалы. В Исландии премьера поймали на мелочи, на которую у нас никто не обратил бы внимания. А там вся страна вышла на митинги, и пока он не ушел в отставку, не успокоилась. У нас раскрывают чудовищные коррупционные дела. И ничего! Население возмущается? Нет. Населению говорят: «Он миллиард украл». А население говорит: «Да? А мы думали пять». Почему? А потому что феодализм. Никто никогда не требовал от феодала, чтобы он жил по тем же законам, которые он издает для подданных. Феодал много на что имел право. А оценивали его по тому, выпол-

няет ли он обязанности феодала? Когда пришли враги, он вышел со своими подданными защищать свою землю, а значит, и их дома? Вышел, защитил — хороший князь или барон. Не вышел, не защитил, трусил — плохой! И у нас, в двадцать первом веке, ментальный феодализм. Люди очень легко верят, что кругом враги и нашу страну хотят как-то унижить.

Во-вторых, вера в авторитаризм. Например, большинство наших сограждан считают весьма эффективным царем Ивана Грозного, который в действительности страну развалил, прошел по ней хуже Мамаю. Демографическая и экономическая ситуация после царствования Ивана Грозного была куда тяжелее, чем когда он вступал на престол. Как период наибольших достижений вам назовут годы правления Сталина-диктатора.

И наконец, у народа нет будущего. Нет ощущения, что еще немного и станет лучше. Мой отец, который был в блокаду в Ленинграде, мне говорил, что во время войны люди верили, что впереди лучшая жизнь — немцев точно победят и после войны жизнь будет хорошей. Может ли сегодня кто-то из наших сограждан назвать тот этап, то достижение, после которого будет хорошая жизнь? Где эти перспективы, если сейчас будущее ищется в прошлом?

Возможные сценарии

О том, что будет. Есть несколько вариантов. Назову их.

Стагнация — общее падение качества человеческого капитала. Оно бы и хорошо. Потому что это как тяжелая болезнь. А вдруг завтра что-то придумают, а вдруг лекарство появится? А вдруг чудо произойдет, бывают же спонтанные ремиссии. Вот у Солженицына рак прошел. Как? Бог вещь как. Прошел и все. Всякое бывает, давайте подождем. Поэтому стаг-

нация — лучший вариант. Без крови, без потрясений, люди, в общем, приспособятся.

Репрессии. Я ставлю себя на место Владимира Владимировича Путина — всегда надо ставить себя на место оппонента, пытаться понять его. Я не вижу вариантов, кроме усиления репрессий. Вряд ли они дойдут до сталинского масштаба, потому что там была еще экономическая составляющая. Но я не вижу другого выхода для власти, к сожалению. Война. Ну, конечно, войны никто не хочет. Но абсолютная власть развращает и портит не столько интеллект, сколько способность принимать адекватные решения. Надо же как-то объяснять неудачи, провалы и добиваться сплочения народа. Без врага никак не получается. А когда есть враг, то можно и начать стрелять случайно. В какой-то момент у кого-то нервы не выдержат, и все. Так что война возможна.

Взрыв. Говорят, что нет потенциала для революции. Увы, единственное, что мы знаем о революциях, это то, что не знаем, когда они происходят. За три дня до начала египетской революции я случайно встретился в Москве с группой египетских историков — интеллектуалов, европейски образованных людей, живущих в Каире, приехавших в Москву на конференцию. На вопрос, как там у них политическая обстановка, они говорили, что Мубарак всех переживет, общая апатия, цены на лепешки дотируются, утром люди пьют кофе, вечером нюхают кокаин — Мубарак вечен, а если умрет, так будет кто-то из его сыновей. Через три дня была революция!

Демократизация, то есть какие-то положительные (либеральные) изменения сверху предполагают понимание властями императивности этих изменений. Когда приехавшие на похороны Николая I провинциальные дворяне зажали в угол нового царя Александра II и спроси-

ли: «Государь, вы правда собираетесь крестьян освобождать?», он ответил: «Господа, крепостное право надо отменить сверху, пока оно само не отменилось снизу». То есть не потому он освобождал, что был либералом, а потому что понимал: либо освобождаешь, либо новый Пугачев.

Сейчас этого не понимают и разговоры о демократизации приравниваются фактически к антигосударственной деятельности. В феврале 2011-го, когда исполнялось 150 лет отмены крепостного права, мы пытались отметить эту дату. И я заказал перетяжку в Москве с такой цитатой: «Крепостное право надо отменять сверху, пока оно само не отменилось снизу». И подпись — Александр II. Ни одна компания, которая размещала перетяжки, не согласилась ее повесить в Москве. Я позвонил хозяину одной компании, которого знаю лично, и говорю: «Слушай, это же не Лимонов сказал. Это сказал православный царь, государь-император, и сказал про крепостное право». А он в ответ: «Не компостируй мне мозг. Мы все понимаем, что ты хочешь сказать. И поэтому это висеть не будет». И поэтому не висело! Нам даже не дали цветы возложить к памятнику Александра II, хотя мы договорились с церковью — он стоит на территории Храма Христа Спасителя. Кстати, деньги на памятник дал Кох.

Итак, мы со всеми договорились, приходим утром 19 февраля с цветами. Царь-освободитель окружен как «несогласный» на Триумфальной площади ОМОНОм. Храм закрыт, я звоню в Патриархию тем, с кем мы договаривались. Они говорят: «Ты понимаешь, это какая-то накладка. Отец Михаил, ключник, куда-то ушел...» В общем, ключник виноват, стрелочник. Я говорю с подполковником, который командует ОМОНОм: «Ты сам корнями откуда?» Он отвечает: «Из Рязани». Я говорю: «Вот смотри. Тот



Жан Дюбюффе. Жалкий тип. 1972

мужик, которому памятник, он твоего прапрапрадеда освободил от рабства, сделал его свободным человеком. Мы за это хотим ему возложить цветы. Мы не хотим про Путина ничего говорить, мы просто возложить цветы». Он в ответ: «Да понимаю, но я человек военный. У меня приказ». Я спрашиваю: «Какой приказ?» Отвечает: «Вас не пускать». Я говорю: «Понял. А приказ цветы не пускать есть?» В результате два сержанта взяли корзину с цветами и поставили ее к памятнику.

Так вот, демократизация требует понимания необходимости изменений. Боюсь, что этого понимания нет. Все обратные связи разрушены, и власти начинают верить тому, что сами себе показывают по телевизору. Они точно в это верят.

Жизнь против смерти

Венгерский биолог Эрвин Бауэр, эмигрировавший в начале 1920 годов в Советский Союз, работавший в Ленинградском университете и расстрелянный в 1938-м, написал великолепные работы, в которых дал определение жизни. «Жизнь — это работа, проводимая против равновесия, диктуемого законами термодинамики». Естественный процесс, процесс, протекающий без специальных усилий, — это умирание. Естественно для государства жить по законам диктатуры, полного подчинения, неграмотности и мракобесия. Если вы этого не хотите, то должны постоянно против этого бороться. Вся позитивная история человечества, не от инквизиции к Гитлеру, а от Рима к Европейскому союзу, от французских куплетов к Галичу — это история борьбы людей и государств против законов умирания.

Наше государство, да и общество не проводят этой работы. Проханов, например, утверждает по всем каналам: «Для русского человека государство важнее

жизни». Жестокими в истории человечества были все государства, но у нас воспеваются абсолютная власть при отсутствии каких-либо сдержек и противовесов. В начале 2000-х Сергей Миронов, став главой Совета Федерации, заявил, что он прежде всего человек Путина, а председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров как-то сказал, что его главный принцип — «Путин всегда прав».

У нашей страны уникальная традиция изоляционизма и представления о себе как о принципиально непохожей на других. Тысячу лет назад митрополит Иларион, автор «Слова о законе и благодати», противопоставляя Россию Западу, писал: «Там живут по закону, а мы по правде». А то, что закон — это и есть правда и справедливость, выраженные в юридических формулировках, по-видимому, не приходило в голову. Задачей же Кирилла и Мефодия, по их словам, было защитить русский народ от латинской ереси. С моей точки зрения, это один из самых успешных деструктивных проектов в истории человечества. И дело их живет — не так давно Дмитрий Медведев сказал, что надо бы на кириллицу перевести Интернет!

Центральный момент национального мифа о России и ее народе — особый путь. Тема особого пути в какие-то периоды истории была популярна у многих народов — у португальцев и поляков, англичан и итальянцев. В частности, немцы в девятнадцатом веке тоже говорили, что они вообще не европейцы и никогда не будут «жалкими лавочниками», как французы. Не говоря уже о том, что абсолютизация личности — это не более чем попытка оправдания собственных неудач и отсталости. В той же Германии идеология особого пути подготовила фашизм. Но постепенно в большинстве стран возобладало понимание, что существуют некие общие законы эко-

номического и социально-политического развития, а национально-культурные особенности каждой страны определяют не основной сюжет картины, а скорее орнамент вокруг нее. Именно об этом шел спор между славянофилами и западниками, которые не отрицали особенностей России, но говорили и о примате универсальных законов.

У нас же сегодня на щит поднимается отрицание универсализма. Люди с I-phone в кармане всерьез говорят о том, что веками и десятилетиями отработанные механизмы — выборы, сменяемость власти, независимый суд — не нужны русскому народу. И с восторгом повторяют фразу императора Александра III о том, что Европа может подождать, пока русский царь ловит рыбу. Не могу понять, как эта фраза сочетается с представлением о царском служении?

Посмотрите на допинговый скандал с нашими спортсменами. Российские представители подписали регламентные документы, регулирующие все, что можно, в том числе и процедуры проверки на допинг, санкции за его употребление, процедуры обжалования. В полном соответствии с этим регламентом как раз и было сказано, что мы виноваты. Мы же, вместо того чтобы обжаловать результаты по нами же утвержденным схемам, начинаем заявлять, что это заговор против России. Это как ребенок, который с удовольствием играет в карты, когда приходят козыри. А пришли плохие карты, он рыдает и говорит, что играть больше не будет. Но планета Земля, в общем, не такая большая, и если не подчиняться согласованным правилам, то не только соседей, но и тебя самого могут ждать крупные неприятности.

Против течения

Человеческая история — это борьба за свободу против предопределенности.

Речь идет не только и не столько о политических свободах.

Человечество долго боролось за свободу от предопределенности местом рождения и социальным статусом. Еще 100 лет назад, если человек родился в пакистанской, например, деревне, то там он и умирал, у него практически не было шансов из нее вырваться. Но я знаю профессора престижной бизнес-школы, который родился в бедной семье в пакистанской деревне. А один из самых знаменитых политологов мира, Фарид Закария, родился в Индии, вырос в Бомбее, мусульманин — живет в США, его принимают короли и президенты.

То же самое с социальной предопределенностью. Если твои предки были простолюдинами, это не влечет сегодня для тебя никаких ограничений. А если ты по рождению аристократ, это не дает тебе привилегий. Я знаю одного маркиза по рождению. Он бедный человек, живет под Парижем, у него маленькая лавка. Односельчане обращаются к нему «господин маркиз», потому что это нравится и ему, и им. Происхождение человека сегодня необязательно влияет на его зарплату, на общественный статус.

Влияют, конечно, уровень обеспеченности, образование и статус родителей. Но и это в значительной мере демпфируется системой стипендий, поддержки талантливых детей и так далее.

Предопределенность, накладываемая религией родителей, также теряет сегодня обязательность. Раньше, если человек родился в семье ортодоксального иудея, то в подавляющем большинстве случаев оставался иудеем. То же самое в среде мусульман или христиан. Сегодня факт рождения внутри определенной конфессии значит существенно меньше. У меня есть приятели-немцы, верующие люди, ходят в церковь, соблюдают посты. Вдруг выясняется, что два их сына-подростка не крещенные. Объясняют: кре-

щение — очень важный акт. Вырастут, сами решат, хотят они креститься или нет.

Успехи феминизма резко снизили уровень гендерного фактора в социальной среде. Дискриминация женщин в цивилизованных странах резко снизилась, как и уровень расовой дискриминации. Обама в своей инаугурационной речи сказал, что в стране, на пост президента которой он вступает, его отца не пускали в рестораны, потому что он черный!

Все это означает, что в современном мире индивидуальность, собственные решения становятся важнее данной от рождения групповой принадлежности человека, который теперь сам определяет место жительства, род занятий, отношение к религии и др.

В России, наоборот, идут прямо противоположные процессы. Утверждается примат общего — гражданства, нации, религии — над индивидуальным. Мы идем против течения, против главных трендов цивилизации.

Можно ли выйти из колеи?

Для меня, с учетом моего профессионального опыта психотерапевта, выход из колеи возможен.

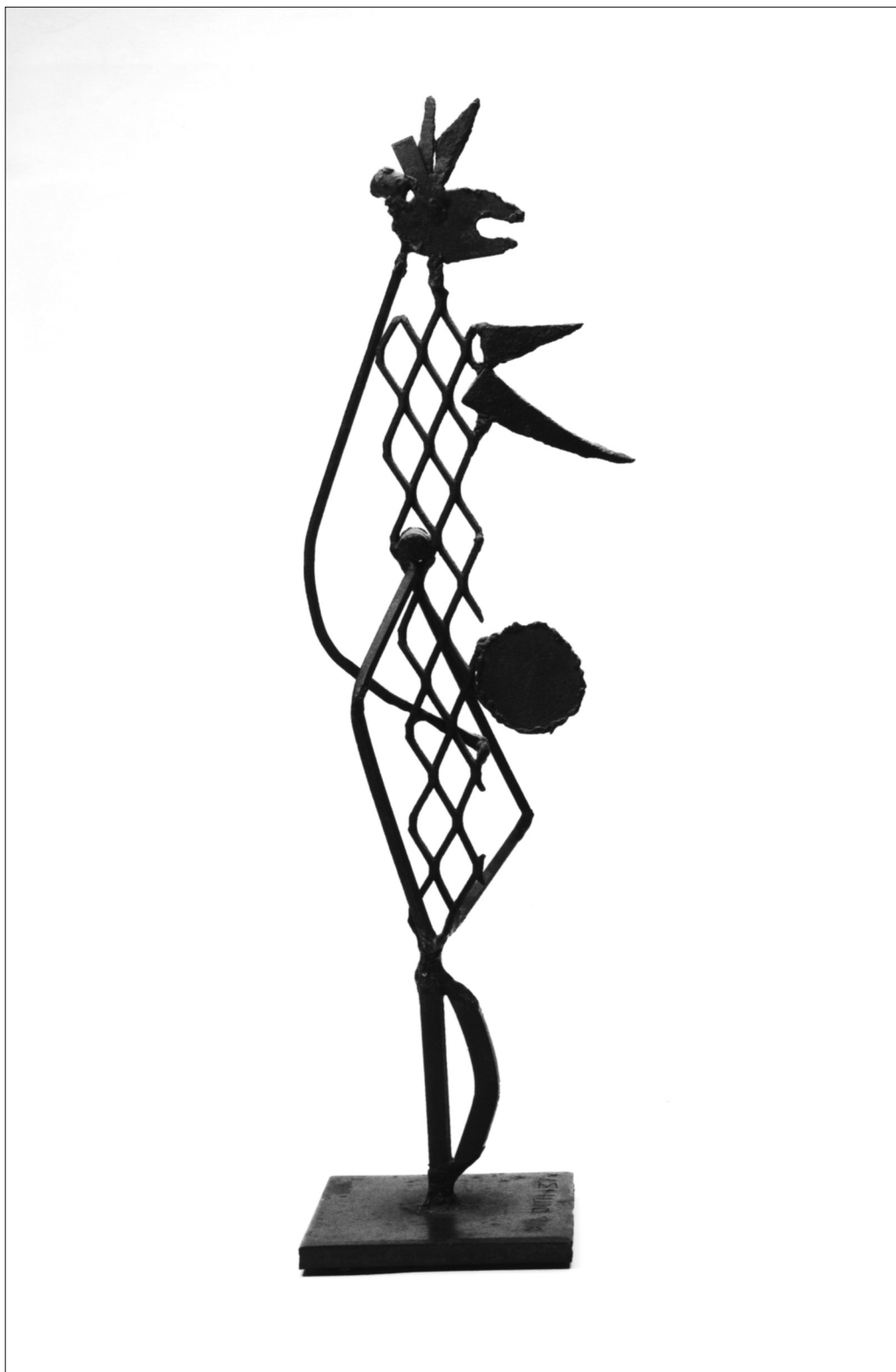
Психотерапия исходит из того, что прошлое не детерминирует будущее, то есть не фатально детерминирует. То, какой ты сегодня, конечно, является следствием того, как ты жил, как тебя воспитывали, какие у тебя были родовые травмы и так далее. Но главный тезис психотерапии — человек свободен. Человек может осознать свое прошлое и начать жить иначе. Этим занимается психоанализ, этим занимается любая глубинная психотерапия. Да, ты осознаешь все свои травмы, ты осознаешь все мерзости, которые у тебя были, все трагедии, которые с тобой случились. Лишь после этого ты становишься свободен, лишь после этого, осоз-

нав все и тем самым освободившись, ты можешь начать жить иначе. Если это может один человек, если это могут хотя бы некоторые люди, то почему этого не может народ, почему этого не может страна? Думаю, в принципе, может.

Прошлое страны, на которое ссылаются сторонники того или иного пути, представляет собой не прошлое, как таковое, а его образ — вспомните Оруэлла. Историю России можно вести от Орды к Грозному, а от него к Сталину, а можно — от Новгородской республики к Сперанскому, Витте и Сахарову и прийти к выводу о том, что для России естественна вовсе не диктатура и подавление, а демократия и свобода. Но история — школьная, официальная — конструируется в пользу власти, которая, собственно, и пытается ее создать или переделать «под себя». (В наше время в России это приобретает неожиданные формы, вроде монумента князю Владимиру, которому повезло быть тезкой действующего президента.) Но ведь с этим создаваемым образом не обязательно соглашаться.

С одной стороны, западники, реформаторы, либералы в России всегда проигрывали. После Александра II на престол взошел Александр III, Анна Иоановна «изволила изодрать» подготовленные князем Голицыным Кондиции и посадила его в крепость, за Керенским пришел Ленин, а за Ельциным Путин. Но ведь и охранители, сторонники скреп и особых путей никогда не выигрывали до конца — реформаторы всегда возвращались. Вот уже много столетий в России это качели. Так что не известно, за кого история.

Однако есть положительные примеры разных стран, которые смогли выйти из колеи. Самый яркий пример — Германия. Денацификация, наверное, невозможна была бы без оккупационных войск, но основную работу все же сделали сами немцы, превратив свою страну в одну из



Дэвид Смит. Вертикальная фигура. 1937

самых сильных демократий мира. И они занимаются денацификацией до сих пор. В центре Берлина — памятник сожженным книгам и мемориал жертвам Холокоста. Любого немецкого ребенка ведут в музей, который сделан на месте концлагеря и показывают: «Смотри, это сделали не американцы и не англичане, это сделали наши с тобой предки. Следи за тем, чтобы этот зверь не проснулся в нас». Немцы очень внимательны к микробу, который привел когда-то к страшной болезни.

Положительные, оптимистические примеры не ограничиваются Германией. Два поколения назад Япония была отсталой сельскохозяйственной страной. Сейчас мы переплачиваем за бренд Made in Japan!

Испания при Франко была глубокой провинцией Европы. И испанцы считали, что любой товар, произведенный во Франции или в Италии, заведомо лучше испанского. Сейчас это нормальная, хорошо развивающаяся страна, со своими проблемами, разумеется, но отнюдь не провинциальная. И испанские товары популярны не только на родине, но и на рынках в других странах.

Турция считалась «больным человеком Европы». Но Ататюрку удалось изменить вектор развития страны. Чего стоит только одно его гениальное решение закрыть мечеть, в которой был храм Святой Софии, и сделать там музей! Он создал светскую Турцию. Я не поклонник Эрдогана, но даже с ним, с его мечетями в шаговой доступности и прочим, так напоминающим сегодняшнюю Россию, Турция совершенно не та страна, которой она, казалось, обречена была быть 100 лет назад.

Или — Грузия. Грузинские милиционеры были одними из самых коррумпированных в Советском Союзе. Сегодняшняя грузинская полиция взяток не берет — это признают даже самые жесткие оппо-

ненты Саакашвили. И этого противоречашего, кажется, всем традициям результата удалось добиться не за поколения, а всего лишь за пару лет.

Таким образом, некоторым странам удалось выйти из колеи. Это не значит, что у нас это получится, но это значит, что у нас может получиться.

Наши плюсы

Есть несколько значимых моментов, которые объективно противостоят курсу на изоляцию России.

Екатерина II сказала: «Россия суть европейская держава». Европейская идентификация всегда, по крайней мере начиная с Романовых, была характерна для образованного сословия России. Европейцами образованные люди России чувствуют себя и сегодня. Поэтому попытки загнать страну во всякие выдуманные «Евразии» сталкиваются не только с сопротивлением экономики, которая не может жить по искусственным законам, но и с открытым или подспудным сопротивлением «человеческого материала»: даже разделяя предлагаемую властями картину мира, люди не хотят отказываться от европейского стиля жизни.

Российская культура оказала огромное влияние на культуру человечества, особенно на культуру Европы. Культура современной Европы немислима без того вклада, который был внесен Россией. В культурном плане Россия, безусловно, часть Европы.

Русские люди демонстрировали очень высокую степень адаптивности, особенно оказываясь в сложных и трагических обстоятельствах вынужденной эмиграции. Самый характерный пример — революционная эмиграция, когда за рубежом оказались не только образованные люди, но и малограмотные крестьяне — солдаты Белой армии. В мире нет бедных

русских гетто. Есть пуэрториканские, мексиканские, любые, но русских нет.

Без денег, не зная языка, большинство русских эмигрантов адаптировались, их дети стали получать образование, и сегодня их происхождение от солдата, ушедшего с Врангелем, выдает только русская фамилия.

Когда власть разжимает кулак, русский человек начинает жить ничуть не хуже, чем француз или американец, работает не менее творчески и напряженно и добивается не меньших успехов. Поражает одно перечисление имен людей, выдвинутых из России — Мечников, Зворыкин, Сикорский, Гейм, Новоселов, — но строивших и строящих сейчас мировую цивилизацию.

И наконец, в России до сих пор образованное население. Хотя качество образования, безусловно, снизилось, интеллектуальный и профессиональный уровень определенной части российских специалистов остается достаточно высоким. Это недостаточное, но необходимое условие движения по пути интеграции с миром.

Зачем Россия нужна миру?

Россия может быть частью мира только в том случае, если она кому-нибудь нужна, если есть задачи, которые с ней решать проще, чем без нее.

Россия в ее нынешнем виде — не партнер, а угроза. Но демократическая европейская Россия миру абсолютно необходима.

Сегодня Запад ведет войну на нескольких фронтах — внутреннюю со своими популистами, холодную — с Россией, с ее непонятными претензиями, поддержкой антисистемных западных политиков и попытками дестабилизировать западный мир, и наконец, горячую — с радикальными исламскими фундаменталистами, которые стремятся построить

тоталитарную систему и уничтожить демократические страны.

Бороться с людьми, которые не шадят своей жизни, которые готовы умереть, крайне трудно. Поэтому тех, кого называют исламскими террористами, нельзя победить без прочного союза цивилизованных стран. Этот союз требует не просто осознания необходимости разгрома очередной радикальной группировки, но и ощущения цивилизационной общности, принадлежности к одной семье. По отношению к сегодняшней России это кажется утопией. Но если говорить о будущем, то мир заинтересован в том, чтобы мы были нормальной демократической страной. Человечеству это нужно, чтобы решать совместные задачи.

Что делать?

Россия по совокупности объективных и субъективных причин находится в весьма тяжелом положении. Но в то же время она обладает определенными плюсами, а ее население и человечество в целом объективно заинтересованы в демократическом развитии и ее интеграции в западный мир.

Могут ли живущие сегодня в России люди делать что-то для того, чтобы максимизировать шансы движения страны по европейскому пути?

Первое — это, конечно, просвещение. Мировоззренческая неграмотность — главная причина той демодернизации или архаизации, которая царит сейчас в России. Ложь, причем самая примитивная, вроде того что в Норвегии уровень жизни выше, потому что она находится на широте Сочи, не просто тиражируется по телевизору. Ложь перестала быть чем-то позорным. Человек, который говорит, что дважды два двенадцать, а если захотеть, то четырнадцать, в нормальной ситуации не может претендовать на что-либо, кроме роли городского сумасшед-

шего. У нас же он может быть одним из членов парламента или популярным телеведущим.

Помимо просвещения, необходимо моральное сопротивление. Власть стоит не столько на силе, сколько на страхе и растущем ощущении безнадежности — мол, плетью обуха не перешибешь, от нас ничего не зависит и так далее. Надо демонстрировать, что это не так. Что испугались или уехали не все, что руки опустили не все, что в некоторых случаях удастся добиться успеха, а значит, этот успех можно расширять.

Ужас сказки о голом короле не в том, что часть его подданных, прекрасно понимая реальность, по прагматическим соображениям рукоплескала его прекрасной одежде. Действительный ужас в том, что часть подданных *видела* его одежду, действительно видела то, чего нет. И вот для них слова ребенка и были открытием. Это как в загадочной картинке, когда вам надо найти зайчика или охотника в переплетении линий. После того, как вы его найдете или вам его покажут, вы уже не можете его не видеть (или это уже глубокая патология). После слов ребенка короля увидели голым и увидели навсегда. Собственно, такой же эффект имели действия советских диссидентов. И сегодня для миллионов людей важно, чтобы кто-то демонстрировал, что он не боится и называл белое белым, а черное черным. И наконец, наш слой, русская интеллигенция, должен ответить на ряд интеллектуальных вызовов.

Во-первых, это минимизация трагедий переходного периода. Уже сейчас надо думать, как минимизировать насилие и кровь, если страна пойдет по пути не эволюционных изменений, а по пути катастрофы, не прятать голову в песок, а сде-

лать это темой публичного обсуждения. Сто лет назад без всякого оружия массового поражения было убито 10 миллионов человек. Нельзя повторять этот опыт. Кроме того, нужна «программа на понедельник». Одна из причин успеха правительства Гайдара (а это был успех, хотя большинство наших сограждан считает иначе) — не только нравственный и интеллектуальный уровень лидера и команды в целом, но и наличие программы действий. За несколько лет до 1991 года молодые экономисты, составившие потом костяк правительства Гайдара, решали, «что делать в 9 утра первого дня после социализма».

Если такого задела нет, то в цейтноте и в эйфории неизбежны ошибки, такие, например, как принятое Верховной радой Украины сразу после майдана решение по языку. Оно не было подписано и.о. президента и не вступило в силу, но само его объявление имело тяжелейшие последствия, ощущающиеся до сих пор.

И наконец, еще один серьезный интеллектуальный вызов — инвентаризация нашей идеологии — либерализма. Если очистить результаты выборов последних лет от прямых и косвенных фальсификаций, то мы вынуждены будем признать, что страна из раза в раз отвергает все то, что нам дорого. Это очень неприятный вывод, но надо смотреть на ситуацию открытыми глазами. Наши, безусловно, правильные идеи не стали своими для наших сограждан. Для американцев эти идеи свои, для французов и англичан — свои, для наших — чужие, принесенные откуда-то. Мы должны сделать так, чтобы сограждане поняли, что свобода, самоопределение, конкуренция, выборы — все это не только выгодно, но и естественно, органично для России.



Андрей Захаров,
политолог,
доцент факультета
истории, политологии
и права РГГУ

Шарль-Луи де Монтескье и его время

Наверное, каждый хотя бы чуточку интересующийся политической мыслью человек знает о том, что Шарль-Луи де Монтескье, родившийся в 1689-м и скончавшийся в 1755 году, завершил начатое Никколо Макиавелли, Томасом Гоббсом и Джоном Локком строительство либеральной философии, дополнив ее концепцией разделения властей. Это было сделано в работе «О духе законов», о которой, среди прочего, речь пойдет ниже. Гораздо менее известен тот факт, что Монтескье очень ценил вино и лично выращивал виноградную лозу. Вот, например, панегирик вину, вошедший в «Персидские письма»: *«Тело беспрестанно тиранит соединенную с ним душу. Если кровообращение замедлено, если жизненные соки не вполне чисты, если они находятся не в достаточном количестве, мы впадаем в уныние и печаль. Когда же мы прибегаем к напиткам, которые могут изменить такое состояние нашего тела, душа наша вновь обретает восприимчивость к бодрящим впечатлениям и испытывает тайное удовольствие, ощущая, что механизм, так сказать, вновь возвращается к движению и жизни»* (Письмо XXXIII)¹. Столь трогательное обстоятельство, незамедлительно располагающее интеллигентного читателя к этому выдающемуся французу, заставляет нас поинтересоваться его биографией, ибо, как и у всех мыслителей Просвещения, у Монтескье личность теснейшим образом связана с творчеством. Именно в таком разрезе — «книги, вплетенные в ткань жизни» — я и собираюсь о нем рассказывать.

Монтескье повезло не только в том, что он родился аристократом; семейство его, имевшее протестантские корни, с XV столетия проживало в благословенном регионе Бордо, что и сделало политического философа прирожденным виноделом. (Надо сказать, что уже в одном из первых своих памфлетов будущий автор трактата «О духе законов» сурово критиковал намере-

ния французской короны слишком жестко регулировать развитие винодельческой отрасли.) Его отец, Жак де Секонда, будучи младшим сыном в семье, не унаследовал родовых земель, но зато мать, Франсуаза де Пенель, принесла мужу в приданое целый замок. Шарль-Луи де Секонда был вторым из шестерых рожденных ею детей. Получив прекрасное юридическое образование на родине и в Париже, он в 1708 году стал адвокатом, а в 1714 году советником парламента Бордо. Парламентами во Франции XVIII века называли отнюдь не легислатуры, как можно подумать, а высшие региональные судебные инстанции. Спустя два года, в 1716-м, он унаследовал от своего бездетного дяди барона де Монтескье вместе с титулом и именем должность президента этой высшей судебной инстанции региона. Надо сказать, что прежде тот же пост занимали оба деда Шарля-Луи; во Франции того времени должности вообще считались чем-то вроде семейной собственности, переходящей по наследству. Возраст не позволял Монтескье вступить в новую должность сразу, он был слишком молод, но деньги, как известно, великая вещь: для него сделали исключение.

В материальном отношении жизнь Монтескье, и без того относительно благополучная, вскоре еще более упрочилась: после кончины отца он сделался обладателем собственной недвижимости. В 1713 году будущий просветитель женился на девушке из протестантской семьи, Джейн де Лартиг, о которой мы не знаем почти ничего — за исключением того факта, что она родила Монтескье троих детей. «Есть все основания полагать, — иронично замечает в этой связи Джуди Шкляр, биограф мыслителя, — что Монтескье не был образцом супружеской верности»². Кстати, касаясь этой темы, один из героев «Персид-

ских писем» рассуждает о французских нравах: «Здесь муж, любящий жену, — это человек, у которого не хватает достоинств, чтобы увлечь другую, человек, который злоупотребляет своим законным правом, чтобы восполнить недостающие ему качества, пользуется своими преимуществами в ущерб всему обществу, присваивает себе то, что ему было дано только на известных условиях, и тем самым стремится нарушить молчаливое соглашение, на котором зиждется счастье обоих полов» (Письмо LV)³. Некоторые особенности личной жизни Монтескье указывают на то, что он придерживался именно такой точки зрения — будучи воспитанником своего века и сыном собственной страны.

Как бы то ни было, поиски счастья не мешали ему заниматься литературным творчеством, а о близких он неизменно заботился: наследственный замок был не только увлечением, в благоустройство которого вкладывалось много сил: прилегающие к нему виноградники оставались основным источником дохода семейства. А вот судебная деятельность, напротив, не приносила философу удовлетворения, парламент был унылым иерархическим учреждением, причем посты в нем, за исключением поста самого президента, продавались и сдавались в аренду. Цена зависела от престижности должности, то есть от того, как скоро она покрывала издержки, затраченные на покупку, и начинала приносить доход. Соответственно и люди там работали особенные, в основном отъявленные карьеристы. Позже Монтескье напишет: «Что мне всегда давало повод плохо думать о себе, так это то, что в стране очень мало профессий, к которым я бы действительно был годен. ...У глупцов я видел тот самый талант, который меня избегал»⁴. Впрочем, в его упражнениях с

правосудием было все же и кое-что полезное. Так, на протяжении одиннадцати лет своего президентства Монтескье курировал рассмотрение уголовных дел, лично присутствуя при пытках, остававшихся тогда неотъемлемой частью уголовного производства. Мы не знаем, как он воспринимал эти методы дознания, но позже, начав выступать за реформу французского правосудия, предполагавшую отмену мучительных и жестоких наказаний, Монтескье рассуждал как специалист⁵. Тем не менее, несмотря на регулярные посещения мест лишения свободы, президент парламента считал свою работу скучной.

Итак, «парламентские акты и протоколы были скудной пищей для беспокойной любознательности»⁶. Борясь с этой скукой, Монтескье начал сочетать службу с любительскими занятиями наукой. Возможности для этого ему предоставила Академия Бордо, членом которой он стал в 1716 году. Надо иметь в виду, что французские провинциальные академии не являлись научными учреждениями в нашем смысле слова; это были клубы, где собирались представители высших сословий, любительски и в свободное время занимающиеся научными изысканиями. Если в стенах этих учреждений и происходило приращение научного знания, то оно было мизерным. Вольтер как-то с издевкой заметил, что провинциальные академии во Франции похожи на юных девушек, которые всеми силами стараются привлечь к себе внимание — и никак в силу своей неопытности не могут добиться этого⁷. Но академии производили нечто другое, не менее важное: они стали площадками, на которых в первой половине XVIII столетия шел поиск естественных, умопостигаемых, научных законов мироустройства. Не божественное вмешательство, но натуральные причины

вещей и событий — вот что волновало провинциальных ученых-любителей. Кроме того, эти учреждения стихийно генерировали демократизм, которого так не хватало в королевской Франции: например, когда на рассмотрение академии поступал очередной научный доклад, социальное происхождение или общественное положение его автора не принимались во внимание: главным считалась основательность самого научного труда. Именно это обстоятельство, кстати, позволяло «людям с улицы», подобно Жан-Жаку Руссо, завоевывать академические награды и премии.

Разумеется, провинциальные академики, как один, были энциклопедистами: поверхностный характер их познаний позволял им заниматься всем и сразу. Монтескье, например, подготовил для Академии Бордо массу докладов и речей по самым разным разделам естественных наук. Среди них такие работы, как «О причинах эха», «О назначении почечных желез», «О морских приливах и отливах». Он купил микроскоп и изучал таинственную жизнь микроорганизмов; почти ничего не понимая в микробиологии, он старательно записывал все увиденное. *«Все меня интересует, все приводит в изумление: я как ребенок, чье еще нежное восприятие поражают даже самые незначительные предметы»*, — говорит прототип самого Монтескье в «Персидских письмах» (Письмо XLVIII)⁸. Это выглядит наивно и трогательно, но тем не менее в подобных упражнениях тысячи образованных людей по всей Франции воспитывали в себе одно и то же убеждение: наука — это лучшее лекарство для общественных нравов. Она не только избавляет нас от фантазмов и предрассудков: она делает нас более счастливыми, поскольку, совершенствуя свой разум, мы чувствуем необычайное удовлетворение собой.

Рациональное сознание помогает преодолевать невежество, которое зачастую просто опасно. Ведь никому не хочется, говорил Монтескье в одном из своих трактатов, повторить участь несчастных индейцев, не сумевших противопоставить доморощенную технологию убийственному натиску испанских конкистадоров! Кстати, именно увлечение естественными науками, в которых Монтескье мало что понимал, позволило ему позже развить мысль о колоссальном влиянии климата на жизнь человеческих сообществ; к этой идее

его вело основательное штудирование медицинских текстов⁹. Монтескье на протяжении всей жизни вообще очень много читал — помимо трудов ученых-естественников его увлекали история, особенно античная, и впечатления путешественников, посещавших далекие страны.

Несмотря на все эти хобби, оригинальность его ума не получала общественного признания вплоть до 30-летия, когда в 1721 году Монтескье опубликовал книгу «Персидские письма», ставшую литературной сенсацией. Автор в одночасье сделался знаменитым, и, хотя книга вышла анонимно, все прекрасно знали, кто ее написал. Цензурный запрет лишь способствовал ее популярности, а имя автора приобрело европейскую известность. Монтескье начал часто бывать в Париже, познакомившись там с самыми важными и интересными людьми Франции. Некоторые специалисты считают, что, если бы не «Персидские письма», провинциального академика вообще не заметили бы. Между прочим, с книгой познакомился сам король: ему рассказывали, что работа фривольна и кощунственна, но ближайший советник

короля, кардинал Флери, знакомый с Монтескье, убедил государя в добропорядочности автора и лживости подобных наветов. (Это, кстати, открыло Монтескье путь во Французскую академию, членом которой он стал в 1728 году несмотря на то что в тех же

Монтескье убежден, что просвещенного деспотизма не бывает: произвол неизбежно доминирует над разумным началом. Позже эта мысль получит всестороннее развитие в трактате «О духе законов»

«Персидских письмах» молодой писатель безапелляционно утверждал: «У тех, кто составляет это учреждение, нет других обязанностей, кроме непрерывной болтовни» (Письмо LXXIII)¹⁰. Герои книги критикуют жизнь Франции той поры, атакуя как престарелого Людовика XIV, так и монархию в целом. Отдельным нападкам в работе подверглась Католическая церковь, над которой автор откровенно смеется. Если же говорить о пластах более глубоких, то исследователи не раз отмечали, что в «Персидских письмах» доказывается невозможность человеческого счастья, а также демонстрируется вечная неудовлетворенность человека своим земным уделом. Действительно, устами своих героев Монтескье многократно намекает: гармония недостижима ни в социальной, ни в личной жизни, добавляя, что это, однако, не избавляет нас от необходимости всеми силами стремиться к ее обретению. Монтескье не был утопистом: он очень любил факты, а факты заставляли его быть скептиком. Скептики же не придумывают утопий. В «Письмах» Монтескье использовал довольно стандартный литературный



Альберто Савино. Коралловый остров. 1928

прием: он поместил в современную ему Францию гостей из Персии, предложив читателю взглянуть на французскую жизнь как бы чужими глазами. Философ вообще был сторонником космополи-

тичного, то есть игнорирующего европоцентризм, мировоззрения, опирающегося на самые широкие межкультурные сопоставления¹¹. Получилось философско-психологическое размышление с

элементами эротики: половина героев книги проживает в гареме и постоянно озабочена особенностями гаремной жизни в различных ее составляющих. В центре политического анализа, встроенного в этот роман в письмах, — принцип деспотизма, ибо главный герой повествования, персидский властитель по имени Узбек, изображен неограниченным деспотом, абсолютно вольно распоряжающимся своими подданными, включая и заключенных в гареме жен. Этот персонаж, способный размышлять разумно и рационально, очень страдает от того, что его власть безбрежна: он чувствует, что это развращает его, поскольку, будучи в состоянии править жизнями других людей, он не всегда дружит с разумом (и это, кстати, приводит одну из его жен к самоубийству). Фактически Монтескье пытается сообщить читателю, что просвещенного деспотизма не бывает: произвол неизбежно доминирует над разумным началом¹². Позже эта мысль получит всестороннее развитие в трактате «О духе законов».

Узбек — фигура страдающая; несмотря на свое всеисие, он не в состоянии обрести внутреннюю гармонию, и это заставляет его задаваться вопросом о том, почему человеческое счастье такая редкая вещь. Фактически эта проблема была очень близка самому Монтескье. В плане социальном счастье недостижимо, поскольку общество вечно репрессирует индивида, не позволяя ему вести себя естественно. Один из самых подривных фрагментов «Персидских писем» — история брата и сестры, которые живут в кровосмесительном браке, будучи вполне счастливыми (Письмо LXVII). Более крамольной темы для Франции XVIII века, как и для любой другой христианской страны, трудно себе представить, но среди героев произведения Монтескье эта парочка —

единственные люди, живущие не по принципу «так надо», а по принципу «так хочется», и практикующие полную свободу собственных устремлений и желаний. Связывая счастье с инцестом, Монтескье как бы намекает на то, что общество — злейший противник естественности, подавляющий человека. (Позже, кстати, в трактате «О духе законов» он вновь заявит, что естественные предрасположенности взрослых людей ни в коем случае не могут регулироваться уголовным законодательством: это противоречит самой природе права.) Но сможет ли человек навсегда остаться счастливым, если ему даже повезет оказаться в естественном состоянии? Узбек рассказывает другу притчу о троглодитах, которые, воспитав в себе должный уровень добродетели, все равно в конечном счете вынуждены были обратиться к внешнему правителю, а тот в итоге демонстрирует своим подданным, что добродетельность всего общества не мешает утверждению деспотической власти (Письма XI–XIV). Философ же в этой притче пытается убедить нас в том, что людям не стоит жертвовать богатством высокоморальной жизни ради утверждения формальных правовых структур и процедур; добродетель и счастье не должны отступать под натиском рукотворных правил и условностей¹³.

Впрочем, несчастными нас делает не только социальная, но и личная жизнь. Монтескье особо выделяет роль ревности, феномена, который всю жизнь его интересовал: он даже задумывал написать историю ревности¹⁴.

Ревность, по его мнению, психическое расстройство, превращающее человека в угнетателя. Ревнивец начинает рассматривать другого в качестве вещи, принадлежащей ему на правах собственности, и тем самым зачастую просто губит его. Более того, Узбек, восприни-

мая своих гаремных затворниц в качестве движимого имущества, постепенно утрачивает к ним интерес: стремление изолировать своих женщин от окружающего мира волнует его больше, нежели любовное влечение к ним. Монтескье вообще считает, что социальные установления, регулирующие взаимоотношения полов, не были удовлетворительными ни в одну эпоху. Особый вред, по его мнению, им наносит церковь, не позволяющая человеку вести себя так, как ему хочется, и тем самым калечащая его. Гарем — символ монастыря, где томящиеся евнухи и красотки переживают постоянное унижение и подавление. Но неограниченное господство одного человека над другими людьми не только эфемерно, но и подчас комично, ибо оно искажает перспективу, как сердечную, так и социальную. Видя в другом человеке безраздельную собственность, предмет владения, деспот никогда не узнает о его подлинном отношении к себе. Аналогичным образом он не чувствует и не понимает окружающей политической реальности, гипертрофируя свое место в ней. В «Персидских письмах» есть замечательная зарисовка на эту тему, достойная того, чтобы привести ее здесь: *«Когда татарский хан кончает обед, глашатай объявляет, что теперь все государи мира могут, если им угодно, садиться за стол. Этот варвар, питающийся одним только молоком, промышляющий разбоем и не имеющий даже лачуги, считает всех земных королей своими рабами и намеренно оскорбляет их по два раза в день»* (Письмо XLIV)¹⁵. Деспотизм, однако, не просто смешон: он несет в себе общественную опасность. В более поздние времена Монтескье потратит немало сил, доказывая, что чем более абсолютистской и неограниченной является власть, тем менее устойчив и стабилен политический режим.

За годы, проведенные в Бордо, Монтескье отличился не только «Персидскими письмами», но и трактатом о несовершенстве имперских государств и пагубности завоевательных войн — теме, волновавшей его на протяжении всей жизни. В эссе «Размышления о богатствах Испании» (1724) он утверждал, что Европа превратилась в единое экономическое целое, каждая часть которого зависит от остальных, и потому войны, ведущиеся на ее территории, ничего не способны решать; они длятся очень долго и наносят колоссальный вред. Армии стали не только дорогостоящими, но и бесполезными, поскольку европейские государства не в силах завоевать друг друга навсегда. Это превратило имперские проекты в бесполезное занятие: территориальное расширение в Европе бессмысленно. Испанские короли пытались покорить Европу с помощью денег, полученных в колониях Нового света, но вместо этого они разрушили саму Испанию. В отличие от англичан или голландцев, они не вкладывали золото в коммерческие проекты, а тратили его на войну, что просто глупо. Эти замечания Монтескье позже вызвали, кстати, восхищение выдающегося экономиста XX века, которого звали Джон Мейнард Кейнс¹⁶. В 1726 году, сложив с себя судебские обязанности и оставив должность президента Академии Бордо, Монтескье переехал в Париж, периодически наезжая к семье, которая осталась в прежних местах. Знакомства и связи в столичных салонах помогли ему в 1728 году стать членом Французской академии, а позднее он был также избран в Лондонскую и Берлинскую академии. Из-под его пера в тот период выходили сочинения на политико-правовые темы, самым заметным из которых стали «Размышления о причинах величия и падения римлян» (1734). Уже в этой работе Монтескье

подступает к той задаче, которой будет посвящена его дальнейшая творческая жизнь: он пытается превратить социологию из собрания разрозненных фактов в систему, а в самом развитии общества обнаружить естественные закономерности. Римляне завораживают его тем, что они, некогда став великими, кончили весьма плохо, и он пытается вскрыть причины этого. В развитии общества, согласно Монтескье, нет случайностей. *«Миром управляет не фортуна, — пишет он. — Существуют общие причины как морального, так и физического порядка, которые действуют в каждой монархии, возвышают ее, поддерживают или низвергают; все случайности подчинены этим причинам. Если случайно проигранная битва, то есть частная причина, погубила государство, то это значит, что была общая причина, приведшая к тому, что данное государство должно было погибнуть вследствие одной проигранной битвы»*¹⁷. Эти опыты помогли ему вынашивать план обширного трактата о праве. Тому же способствовало и длительное заграничное путешествие, предпринятое Монтескье в 1728–1731 годах. Посетив Австрию, Венгрию, Италию, Швейцарию, Голландию и Англию, он повсюду внимательно изучал законы и обычаи каждой страны, особенности географии и климата, темперамент и нравы населения. За полтора года, проведенные в Англии, сильнейшее впечатление на мыслителя произвели британские государственные институты, а деятельность парламента породила уважение к конституционному правлению¹⁸. Британский опыт убедил его в том, что верховенство права и политическая свобода — это возможности, в той или иной степени открытые для всех европейских народов. В 1748 году в Женеве и снова анонимно вышел первый небольшой тираж книги «О духе законов». Работа писалась

вопреки надвигающейся слепоте; Монтескье вынужден был надиктовывать ее сменявшим друг друга секретарям. И хотя работа попала в список запрещенных книг, за короткое время она разошлась по парижским салонам — санкции Ватикана лишь укрепили популярность автора. Вскоре последовало множество переизданий: их было не менее двенадцати за два года. Произведение имело успех даже в официальных кругах: сам дофин, сын и наследник Людовика XV, проявил к нему интерес. В течение десятка лет вокруг трактата «О духе законов» шла полемика, поскольку труд поразил современников и подходом, и стилем: это было весьма необычное и довольно живое размышление о праве.

Прежде всего автор сообщает читателю о том, что закон воплощает в себе отношения *между людьми*. Казалось бы, такая трактовка банальна, но она заметно отличается от господствовавшего в XVII–XVIII столетиях убеждения в том, что законодательство прежде всего есть отражение *божественной воли* или *воли суверена*. Соответственно Монтескье не отделяет друг от друга законность и справедливость: обе идеи зародились в человеческом разуме одновременно и сталкивать их между собой нельзя. В этом, кстати, сказалась одна из особенностей европейского правового сознания: привычная для русской культуры дилемма, противопоставляющая друг другу «закон» и «правду», тут исключается. Наконец, в книге утверждается, что без законов человечество не способно выжить.

Предвосхищая будущее, Монтескье настаивает на следующем: современное право должно обособлять сферу частного от сферы публичного. Ограничения, предусматриваемые законом, касаются только публичной жизни, а для частной жизни законодательство устанавливает



Доменико Гноли. Пустой шкаф. 1960

совсем иные процедуры. К публичным персонам, по мысли автора, надо применять одни правила, а к частным лицам другие; скажем, публичные должности не должны быть собственностью людей, которые их занимают; с другой стороны, правительства не могут вторгаться в сферу частного права, подвергая опасности жизнь и собственность граждан. Попытку защитить частную собственность посредством обособления публичного права от права частного Монтескье считал своим наиболее важным вкладом в правовую теорию¹⁹.

В своих последующих рассуждениях Монтескье опирался на общепризнанный факт: люди, живущие в различных климатических условиях, создают разные правительства, религии, обычаи. Разумеется, законы должны учитывать все разнообразие этих отношений, которые определяют их дух. Подобно Гоббсу и Локку, в обеспечении безопасности индивидов Монтескье видит главное обоснование государственной власти. Под этим углом зрения он рассматривает недостатки и преимущества политических режимов: республиканского, монархического и деспотического. Внимательно наблюдая за противостоянием власти и свободы в современной ему Англии, Монтескье, в отличие от Локка, интересуется не тем, какие законы надо принять, чтобы обосновать свободу, а тем, как ограничить власть, угрожающую этой свободе. Его ответ известен: *«Чтобы не было возможности злоупотреблять властью, необходим такой порядок вещей, при котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга»* (XI, 4)²⁰. Интересно, что в отличие от Локка, заботы которого сводились к ограничению власти исполнителей и соответствующему укреплению власти законодателей, Монтескье подчеркивал угрозу свободе, исходящую от парламента.

Именно по этой причине он выдвинул идею двухпалатного парламента, части которого призваны сдерживать друг друга, — и которая спустя несколько десятилетий после его кончины была реализована в Соединенных Штатах Америки.

Но не могут ли две ветви власти сговориться против граждан? Согласно Монтескье, такая опасность почти отсутствует. Граждане добиваются обеспечения своих интересов с помощью различных властей, и потому «перетекают» от одной ветви к другой, руководствуясь собственной выгодой в конкретный момент. Кроме того, они не хотят чрезмерного укрепления какой-то одной из них; в зависимости от того, кто берет верх — исполнители или законодатели, люди готовы менять свои партийные пристрастия, присоединяясь к более слабой ветви. Рационально действующий гражданин, заметив, что поддерживаемая им фракция власти слишком укрепилась, покинет ее и перейдет в ряды оппонентов. Практически перефразируя Макиавелли, Монтескье подчеркивает, что именно такая ситуация постоянной политической флуктуации и порождает политическую свободу²¹.

В отличие от Аристотеля, Монтескье не противопоставляет, а объединяет демократическую и аристократическую формы правления. В античности это были абсолютно противоположные сущности, но теперь, в XVIII столетии, в них усматривается общее. Интересно, что за выбором формы правления Монтескье видит естественные причины: для республик наиболее подходят малые государства, для монархии — средние, а для деспотии — бескрайние империи. Означает ли это, что выбор предрешен, а политические формы фатально predeterminedены? Мыслитель не отвечает на этот вопрос, хотя исследователи его творчества не раз отмеча-

ли, что выдвинутая им географически-климатическая теория принижает роль волевых факторов, присутствующих в социуме. Так, по мнению одного из специалистов, это был весьма жесткий детерминизм, который позволял выделить особенности социального устройства и даже вскрыть его дисфункции, но не допускал никакого отхода от устоявшихся моделей»²².

Но зато для Монтескье было очевидным, что решающим признаком политического устройства «служит не принадлежность высшей власти одному или нескольким лицам, а то, как эта власть осуществляется: с соблюдением законов и чувством меры или, напротив, с произволом и насилием»²³. С этой темой неразрывно связан принципиальный вопрос, из ответа на который Монтескье, собственно, и выводит свою типологию политических режимов: «А кто правит?» В демократических республиках, по его утверждению, разряды правителей и подданных совпадают друг с другом; именно в этом республике уникальны. Избирательное право в таких государствах должно быть предельно широким, но вот сферу законодательства, принимаемого всеобщим голосованием, напротив, нужно предельно сузить: принятие основного массива законов следует сделать прерогативой сугубо выборных магистратов²⁴. Предвосхищая более поздние предложения Джона Стюарта Милля и других либералов, Монтескье предлагает сделать избирательное право неравным, предоставив богатым и образованным непропорционально большее число голосов.

Работая над сочинением «О духе законов», мыслитель, взгляды которого становятся все более радикальными, сближается с Ж.-Л. д'Аламбером, математиком и философом, издателем знаменитой «Энциклопедии». Сотрудничество оказывается взаимно обогащающим:

«Энциклопедия» популяризует общественно-политические идеи Монтескье на своих страницах, а сам Монтескье, несмотря на официальную репутацию «Энциклопедии» как подрывного и революционного издания, готовит для нее статью «О вкусе». Он не успел закончить это произведение; оно было опубликовано в незавершенном виде с добавлениями Вольтера. Это был жест солидарности: Вольтер, резко критиковавший социально-политические идеи Монтескье, всегда защищал его от нападок церковников и прочих обскурантов²⁵.

Последние годы мыслитель, почти лишившийся зрения, провел, совершенствуя текст «О духе законов» и «Персидских писем». К концу его жизни полемика вокруг них почти угасла. В 1755 году Монтескье заболел воспалением легких, причем простудился он, занимаясь общественным служением. В 1754 году ему стало известно о том, что прусская полиция арестовала некоего французского профессора, пропагандировавшего идеи Монтескье в одном из немецких университетов. Пруссаки передали арестованного французскому правосудию, которое отправило его в тюрьму. Пытаясь вызволить человека, пострадавшего за его идеи, Монтескье, покинув свой замок, отправился в Париж — и там, обивая министерские пороги, простудился на сквозняках²⁶. На смертном ложе он с присущим ему здравомыслием замечает: «*Этот миг отнюдь не столь ужасен, как принято думать*»²⁷. Тем самым он как бы вторил одному из персонажей «Персидских писем»: «*Людей следует оплакивать при рождении, а не по смерти. К чему церемонии и вся та мрачная обстановка, которыми окружают умирающего в его последние минуты, к чему даже слезы его родных и горе друзей, как не для того, чтобы еще усугубить пред-*

стоящую ему утрату!» (Письмо XL)²⁸. Похороны были скромными — из известных лиц гроб сопровождал только Дени Дидро.

О частной жизни Монтескье нам неизвестно почти ничего — все его записки касаются либо судебных тяжб, либо дел Академии Бордо. Сохранилось также несколько неотправленных любовных писем неизвестным дамам. Он любил свою семью, но заботы о ней предпочитал перепоручать другим людям. В отличие, скажем, от Руссо, прославившегося своей шокирующе откровенной «Исповедью», Монтескье не любил копаться в себе. И это презрение к интроспекции не было случайным: он полагал, что, сосредоточиваясь на собственных переживаниях, мы ставим себя в центр мира, искажая объективную картину реальности²⁹. Самодовольство окружающих травмировало его; на фоне великих проблем истории и вселенной эгоистическое превознесение личности, ее страданий и переживаний казалось ему глупостью. Для Монтескье, как подчеркивает нынешний комментатор, «все относительно, атомизму и индивидуализму у него нет места»³⁰. Учитывая сказанное, очень символично, что у философа нет даже собственной могилы: она затерялась, известно лишь кладбище, где он был погребен. Один из его героев, как бы предвосхищая эпидемию самолюбования, порожденную Facebook, говорит: «Когда я вижу, как люди, пресмыкающиеся на атоме, — сиречь на Земле, которая всего лишь маленькая точка во вселенной, — выдают себя за образцовые создания Провидения, я не знаю, как примирить такое сумасбродство с такой ничтожностью» (Письмо LIX)³¹. Меланхоличный Узбек, восточный дес-

пот, ставший героем «Персидских писем», многим напоминал их автора: сын Монтескье, а также некоторые его друзья называли мыслителя «Узбеком». Анализируя творчество Монтескье, Раймон Арон называет его одним из основателей научной социологии, стре-

Монтескье отнюдь не был революционером... Он не хотел смены режимов, и в этом он традиционалист; но его упор на равновесие сил как основу общественного спокойствия и развития очень и очень современен

мившимся показать, как бессистемное разнообразие явлений превращается в осмысленный порядок. По мнению Арона, с которым трудно не согласиться, философию Монтескье нельзя отнести ни к упрощенному детерминизму, ни к традиционному превознесению естественного права. Академик из Бордо попытался совместить и то и другое. Один из немецких историков, изучавший его философию, говорил, что учение Монтескье колеблется между рациональным универсализмом, характерным для XVIII столетия, и поиском исторических частных, типичных для XIX века. Действительно, у него есть формулировки, отражающие поиск всеобщих закономерностей, и пассажи, где акцент делается на многообразии, причем самому мыслителю это не казалось противоречием. В сущности, подчеркивает Арон, он повсюду защищает равновесие и умеренность³². Монтескье отнюдь не был революционером, он скорее реакционер и охранитель. Но сам того не желая, он, как просветитель, готовил Французскую революцию. Он не хотел смены режимов, и в этом он

традиционалист; но его упор на равновесие сил как основу общественного спокойствия и развития очень и очень современен. Все это, разумеется, не единственное, чем может обогатить нас автор «Персидских писем» и «О духе законов». Как справедливо заметил один из современных исследователей, «возможности диалога с Монтескье безграничны: он по-прежнему один из нас»³³.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Здесь и далее цитаты из этого произведения приводятся по изданию: Монтескье Ш.-Л. *Персидские письма* // Он же. *Персидские письма. Размышления о причинах величия и падения римлян*. — М.: КАНОН-пресс-Ц, 2002. — С. 61. Кстати, действующее в нынешней Франции «Общество Монтескье», опекаемое наследниками мыслителя, наряду с прочими направлениями своей деятельности до сих пор занимается продажей вина. См.: Ehrard J. *Montesquieu and Us* // Kingston R. (Ed.). *Montesquieu and His Legacy*. — Albany, NY: State University of New York Press, 2009. — P. 260.
- ² Shklar J. *Montesquieu*. Oxford: Oxford University Press, 1987. P. 3.
- ³ Монтескье Ш.-Л. *Персидские письма*. С. 94.
- ⁴ «Мысли и фрагменты». Цит. по: Арон Р. *Этапы развития социологической мысли*. М.: Прогресс, 1993. С. 76.
- ⁵ См.: Shklar J. *Op. cit.* P. 5.
- ⁶ Азаркин Н.М. *Монтескье*. М.: Юридическая литература, 1988. С. 10.
- ⁷ Shklar J. *Op. cit.* P. 6.
- ⁸ Монтескье Ш.-Л. *Персидские письма*. С. 78.
- ⁹ Shklar J. *Op. cit.* P. 8–11.
- ¹⁰ Монтескье Ш.-Л. *Персидские письма*. С. 125.
- ¹¹ Dallmayr F. *Montesquieu's Persian Letters: A Timely Classic* // Kingston R. (Ed.). *Montesquieu and His Legacy*. Albany, NY: State University of New York Press, 2009. P. 244.
- ¹² Shklar J. *Op. cit.* P. 33.
- ¹³ См.: Dallmayr F. *Op. cit.* P. 246, 251.
- ¹⁴ Shklar J. *Op. cit.* P. 39.
- ¹⁵ Монтескье Ш.-Л. *Персидские письма*. С. 74.
- ¹⁶ Shklar J. *Op. cit.* P. 17.
- ¹⁷ Монтескье Ш.-Л. *Размышления о причинах величия и падения римлян* // Он же. *Персидские письма. Размышления о причинах величия и падения римлян*. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2002. С. 356–357.
- ¹⁸ О колоссальном впечатлении, которое на Монтескье произвело знакомство с английской мыслью, жизнью и политикой, см.: Haskins Gonthier U. *Montesquieu and England: Enlightened Exchanges, 1689–1755*. London: Pickering & Chatto, 2010.
- ¹⁹ Shklar J. *Op. cit.* P. 73.
- ²⁰ Монтескье Ш. *О духе законов*. // Он же. *Избранные произведения*. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. С. 289.
- ²¹ См.: Шахай А., Якубовски М. *Философия политики*. Харьков: Гуманитарный центр, 2011. С. 52.
- ²² Shklar J. *Op. cit.* P. 94.
- ²³ Арон Р. *Указ. соч.* С. 46.
- ²⁴ Shklar J. *Op. cit.* P. 76.
- ²⁵ Ibid. P. 22.
- ²⁶ См.: Саркитов Н.Д. *Шарль Луи Монтескье* // Монтескье Ш.-Л. *Персидские письма. Размышления о причинах величия и падения римлян*. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2002. С. 7.
- ²⁷ Цит. по: Shklar J. *Op. cit.* P. 22.
- ²⁸ Монтескье Ш.-Л. *Персидские письма*. С. 70–71.
- ²⁹ Shklar J. *Op. cit.* P. 25.
- ³⁰ Dallmayr F. *Op. cit.* P. 242.
- ³¹ Монтескье Ш.-Л. *Персидские письма*. С. 100.
- ³² Подробнее см.: Арон Р. *Указ. соч.* С. 71–73.
- ³³ Ehrard J. *Op. cit.* P. 267.

Суверенитет и разделение властей в учении Джона Локка¹

Интеллектуальное богатство Локка

В интеллектуальной истории Запада, где «новизне» принято приписывать доктринальное, а не стратегическое значение, достоинства мыслителей обычно оцениваются, исходя не столько из глубины их идей, сколько из оригинальности. Такой подход можно проиллюстрировать, сославшись на двух гигантов английской политической мысли — Томаса Гоббса (1588–1679) и Джона Локка (1632–1704). Искушение сравнить их между собой велико, поскольку, как справедливо замечает Уильям Грэм, «первейшим по известности среди английских философов, вне всякого сомнения, выступает Локк, но по оригинальности идей в области политической философии он во многом уступает Гоббсу — оставаясь, впрочем, не менее влиятельной фигурой»².

Не сложно понять, почему Гоббса и Локка сравнивают как «первоисточник» и «производное». Если Гоббс демонстрирует модернистское мировоззрение, то Локк остается традиционалистом, или, точнее говоря, носителем обновленного традиционализма, в котором, используя терминологию Макса Вебера, «традиционное» и «модерное» предстают в качестве идеальных типов, сконструированных в аналитических целях. Под «традиционным мировидением» в данном случае понимается картина мира аристотелевского толка, с которой Гоббс постепенно расставался, в то время как Локк, напротив, все более к ней привязывался под влиянием Фомы Аквинского и Ричарда Хукера. Основное различие между Гоббсом и Локком определяется тем, как они понимали концепт справедливости — фундаментальной ценности, которую традиционно закладывали в основание политики. Порвав с традицией, Гоббс считал себя основателем политической теории, не имеющей ничего общего с такими «архаичными» ценностями, как справедливость³.

У Локка же, как и у Аквината, понимание традиции основано на идеально выверенном сочетании веры и



*Бедри Генчер,
профессор департамента
гуманитарных
и социальных наук
Технического университета
Йылдыз
(Стамбул, Турция)*

разума. Но представители светской науки, поколение за поколением, игнорировали эту его особенность, направляя все усилия на изучение Локка в качестве секулярного и либерального мыслителя. Между тем, как полагал Аласдер Макинтайр, обоснование идеи равенства и личных прав, предложенное Локком в «Двух трактатах о правлении», по сути, настолько религиозно, что изучение данной работы в американских средних школах следовало бы признать противоречащим Конституции США⁴. Тот Локк, которым восторгались американские ученые-агностики, на деле был «урезанной» версией, и только с подъемом постмодернизма и распространением его подходов пришло время для того, чтобы взглянуть на Локка не под светским, а под религиозным углом зрения.

Прошло почти тридцать лет с тех пор, как в новаторской работе Джона Данна «Политическая мысль Джона Локка» впервые было высказано предположение о том, что целостное понимание Локка невозможно без учета того громадного значения, которое в его интеллектуальных построениях играла религия⁵. За это время свой вклад в раскрытие традиционалистских и теологических основ учения Локка внесли многие специалисты⁶. Это обстоятельство едва ли покажется удивительным, если принять во внимание неясную миссию Просвещения, в реализации которой участвовал среди прочих и Локк. Отзываясь на неспособность христианства адекватно реагировать на стремительные изменения, происходящие в мире, и нарастающее в Европе ощущение кризиса, теологи в лице Лютера, Кальвина и их сподвижников выступили основоположниками новой теологии, развивающей христианское вероучение «изнутри». Но когда выяснилось, что и эти реформистские начинания оказались недостаточными, возникла нужда в подкреплении Реформации религиозной «реформацией» интеллектуальной. Ее предприняли такие мыслители эпохи Просвещения, как Джон Локк, Шарль-Луи де Монтескье, Жан-Жак Руссо и Иммануил Кант, которые призвали к переосмыслению христианства «снаружи», призванному дополнить его новую интерпретацию «изнутри». Наблюдаемые в рядах этих мыслителей расхождения в трактовке естественных прав объясняются, на мой взгляд, тем, насколько близко каждый из них приближался к одному из двух мировоззренческих полюсов, христианскому или секулярному. Увлечение работами великого англиканского богослова Ричарда Хукера, называемого им не иначе как «мудрейшим»⁷, предопределило христианскую ориентацию Локка.

Таким образом, сравнивая Локка с Гоббсом, вполне уместно указать на «обновленный традиционализм» (ретрадиционализм) первого из них. Мыслителю-традиционалисту, живущему в обществе стабильном и устойчивом, едва ли нужно одновременно быть оригинальным и глубоким, но зато, когда он, подобно Локку, оказывается в мире, претерпевающем постоянные метаморфозы, ему приходится демонстрировать новизну мысли. Имея дело с отдаляющимися друг от друга и расходящимися в разные стороны общественными группами, такой мыслитель способен поддержать традицию исключительно посредством глубокого и многоступенчатого интеллектуального акта, который Клиффорд Гирц именуется «идеологической ретрадионализацией»⁸. Следовательно, в то время как Гоббс

может считаться более «оригинальным» мыслителем благодаря его модернизму, Локк предстает более глубоким в плане крайней сложности его доктрины. Многочисленные специалисты в области интеллектуальной истории сходятся в том, что непрекращающиеся и противоречивые попытки толковать Локка, породившие обширный пласт научной литературы, обусловлены прежде всего чрезвычайной изошренностью его мышления⁹. Успех Локка был обеспечен предпринятой им секуляризацией христианской, по сути, политики посредством умелой подгонки друг к другу теологических, социологических, политических и правовых теорий. Поскольку социальная теория составляет онтологическую основу, или *proto philosophia*, любой политической теории, в последние десятилетия наметился всплеск научного интереса к социальному аспекту политических взглядов Бодена, Локка, Руссо и Монтескье¹⁰. Будучи мыслителями консервативного толка, все эти деятели подходили к осмыслению современной им реальности, опираясь на строго нормативный подход, под который подводили соответствующую теоретическую основу. Всех их объединяло то, что они чувствовали необходимость сохранить вечные истины, подвергавшиеся яростному натиску со стороны постоянно меняющегося, сошедшего с орбиты мира.

Средоточием, в пределах которого переплетаются все упомянутые теории, стала «политическая теология». Я использую здесь термин Карла Шмитта, посредством которого он попытался привлечь внимание к тому факту, что теологическое начало можно обнаружить в основе всех современных политических понятий, включая «суверенитет», «договор», «государство» и так далее¹¹. Понятие «суверенитет», ставшее одним из основных в истории политической и теологической мысли, сохраняет кардинальную важность и для понимания доктрины Локка. Впрочем, Локк не ограничивается сугубо нормативным подходом к суверенитету, реализуемым в сугубо политических терминах, изучая его также и в аспекте социальной теории.

В настоящей статье я попытаюсь доказать, что выдвинутая Локком концепция суверенитета и ее использование на стыке теологической, социальной и политической теории демонстрируют необычайную глубину его мышления, обусловленную осознанным и целенаправленным стремлением к ретрадиционализации. Насколько мне известно, подобный подход к изучению суверенитета у Локка пока еще недостаточно разработан. В монографии Джулиана Франклина, одной из немногих, затрагивающих эту тему, взаимосвязь суверенитета с такими концептами, как «разделение властей» и «власть», рассматривается лишь косвенно, хотя эта книга позволяет составить представление об интеллектуальном контексте, в котором формировались идеи Локка¹². Таким образом, данная статья представляет собой попытку сочетать исторический и теоретический анализ применительно к изучению политической и социальной теории. Моя цель — выявить фундаментальную основу учения Локка и одновременно разобраться в том, как он пересматривает понятие суверенитета, ныне приходящее в упадок из-за продолжающейся эрозии национально-государства.

Власть как право господства

Хотя в наше время «суверенитет» воспринимается как политическое понятие, лишенное каких-либо религиозных коннотаций, полное понимание его природы невозможно без обращения к теологическому происхождению этого термина, обозначенному в рамках «политической теологии» Карла Шмитта. В основополагающей политической оппозиции «господство / подчинение» сути суверенитета отвечает «господство». Поскольку традиционное мировоззрение уподобляло и вселенную, и людское сообщество «телу», божественному и человеческому¹³, связку «господство / законотворчество» также лучше рассматривать, придав ей телесное толкование. По замечанию Руссо, государственный организм, подобно организму человека, можно назвать «произведением искусства»¹⁴: это явления одного порядка и отличаются друг от друга лишь масштабом. Руссо называл законодательную власть *сердцем* политического тела, а исполнительную — *мозгом*, который приводит в движение все прочие части, то есть первая отождествлялась им с *волей* политического тела, а вторая — с его *действием*.

Основной характеристикой, присущей существам, наделенным сознанием и интеллектом, является наличие *воли* к действию и последующее *действие* согласно воле. Волевые устремления подобного существа ограничены только его физическими возможностями. В отношениях с другими существами акт воли предполагает акт господства, а действие — принуждение кого-то сделать что-то. Таким образом, здесь просматриваются два варианта. С одной стороны, Бог или человек могут заставлять низшие существа, например животных, делать что-то, используя свою власть над ними. Но, с другой стороны, если речь заходит о *политических* отношениях между равными сторонами, например между Богом и сотворенным по Его образу и подобию человеком или же между самими людьми, то ситуация кардинально меняется.

Локк подчеркивает в труде «Два трактата о правлении», что Господь создал человека по Своему образу и подобию (*imago dei*) на шестой день сотворения мира, вдохнув в него душу живую (ТТГ, 197, 204, 413). По этой причине в данном случае, добиваясь желаемого, нельзя просто заставлять: Божья власть должна подкрепляться правом, а распоряжения Бога должны восприниматься как правомочные в рамках договора, устанавливающего обязательства сторон¹⁵. Если же власть не подкрепляется соответствующим правом заставлять других действовать сообразно желанию властвующего, можно говорить только об абстрактной «воле», а не о «господстве». Таким образом, «исполнять чью-то волю» означает реализовывать его «право на господство».

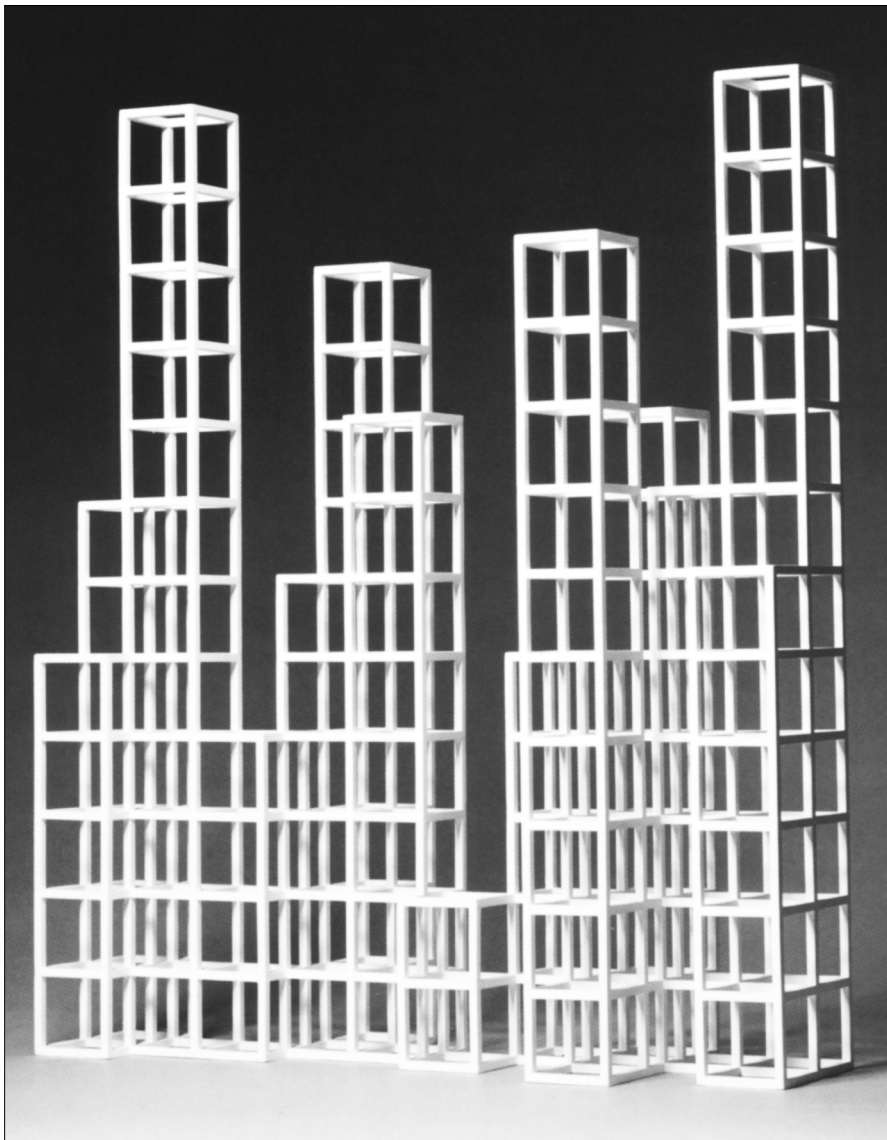
Сама этимология английского слова «власть» («*authority*») указывает на единственный источник «права на господство». «*Authority*» происходит от латинского «*author*». Критикуя тезисы Роберта Филмера в защиту абсолютной отцовской власти, Локк пишет: «Но у тех, кто говорит, что отец дает жизнь своим детям, настолько захватило дух от мыслей о монархии, что они не помнят, хотя и должны бы, Бога, который есть “создатель и

даритель жизни (*the Author and Giver of Life*), в нем одном мы живем, движемся и имеем средства к существованию» (ТТГ, 214). [Локк Д. *Два трактата о правлении*. Кн. 1, гл. VI, 52 // Он же. *Соч.* в 3 т. Т. 3. — М.: Мысль, 1988. — С. 177. — Прим. перев.] Локк здесь даже использует свои познания в медицине, чтобы пояснить, что значит «давать жизнь»¹⁶. Такие эпитеты, как «наш Создатель», «Творец всего живого», «Создатель закона», можно встретить в текстах многих западных философов, включая Гоббса¹⁷, Гроция, Руссо, Смита. Все эти формулировки подчеркивают, что первейшим источником господства выступает только Господь Бог. В «Двух трактатах о правлении» Локк подспудно (ТТГ, 187–188, 203, 206, 214–215, 227), а в «Разумности христианства» и явно выражает идею о том, что *Божественная природа* и *господство* Бога дополняют друг друга как «власть повелевать» и «право повелевать»; это делается посредством договора между Богом и людьми, называемого заветом. Поэтому никому не дозволено думать, что он получил власть напрямую от Бога или Адама, то есть в обход данного договора.

Локк уточняет свою трактовку понятий «политическое устройство» и «власть» во втором из «Двух трактатов о правлении», критически анализируя идеи своего современника Роберта Филмера (1588–1653), полемике с которым он посвятил первый трактат. В 1680 году, когда английский король и парламент спорили друг с другом, была опубликована работа «Патриархия, или Естественная власть королей», в которой Филмер изложил взгляды рьяных приверженцев доктрины «божественного права». Он считал, что власть отца над своим семейством является моделью, которую воспроизводят все прочие виды светской власти. После сотворения Адам получил от Бога абсолютную власть над своим потомством. Она была настолько велика, что он мог определять судьбы будущих поколений, распорядясь их жизнью и смертью.

Реагируя на эксцессы теократической теории, Локк встал на защиту народного суверенитета, проистекающего из завета человека с Богом. Он опроверг теорию Филмера, положив в основу аргументации тексты Ветхого и Нового Завета. Прежде всего Локк отвергает необоснованное заявление оппонента о том, что сразу после сотворения Адам был, хотя об этом нигде и не сказано прямо, фактически назван королем. Говорить о господстве без подданных — это все равно что рассуждать о правителе без правительства, отце без детей, короле без подданных и писателе без книг.

Во-вторых, между Адамом и его потомками нет какого-то кардинального различия, которое обусловило бы его владычество. Господь создал человека по своему образу и подобию, увенчав сотворенный мир самым прекрасным из всех существ (ТТГ, 197, 204, 207). В Святом Писании Адам предстает не конкретным человеком, от которого произошел весь людской род, а скорее архетипической фигурой, представляющей людей. Поэтому от рождения все люди равны и в одинаковой мере свободны. Локк напоминает читателям, что те, к кому Господь обратился, провозглашая первый завет, были обозначены как множество; иначе говоря, Адам не обладал ни частичным, ни избирательным, ни абсолютным суверенитетом в отношении себе подобных. В-третьих, поскольку Адам и все остальные люди



Сол Левитт. Без названия. 2003

были сотворены равными, им было пожаловано владычество или дано превосходство только над неодушевленными вещами, а также растениями и животными, которые в иерархии творения занимают нижестоящее положение, но — не над себе подобными (ТТГ, 193–195, 202).

В-четвертых, власть, которой обладает человек как «наместник Бога на земле», *относительна*, а не *абсолютна* (ТТГ, 203). Господь, сотворивший небо и землю, — единственный властитель и хозяин мира, он не передавал человеку абсолютного права на вещи, но дал право лишь распоряжаться ими, сделав землю покорной ему. Обладание другими созданиями есть не что иное, как дозволенная Богом «свобода использовать» их; поэтому размер и состав имущества человека могут меняться.

Локк категорически отрицает концепт рабства для рабов, то есть вытекающую из построений Филмера идею подчинения человека человеку, а не Богу. Как Адам не являлся абсолютным властителем и господином для Евы, так и иные мужчины не являются таковыми для других женщин, отцы — для детей, короли — для подданных. Создатель всех и вся — Господь, и только он остается источником жизни. Тезис Локка предельно ясен: с онтологической точки зрения истинная свобода, которая позже будет заложена в основание «либерализма», состоит в неуклонном подчинении Божьей воле (ТТГ, 192, 214–215, 311).

Опираясь на договорную природу государственности, Локк отвергал крайние взгляды, будь то теократические рассуждения о божественной природе королевской власти или секуляризм мыслителей, подобных Гоббсу. В Средние века теократия, основанная на «божественном праве королей», привела к тяжелейшему кризису легитимности в Европе, в ответ на который Фома Аквинский (1225–1274) впервые предложил демократичную и мирскую (*laïque*) модель политического устройства католического мира.

Греческие слова *demos* и *laos*, из которых возникли наши *democracy* и *laïcité*, переводятся как «народ», однако в первом случае имеется в виду организованное множество людей, а во втором — масса, образовавшаяся стихийно. В синоптических Евангелиях *laos* используется для обозначения неграмотных людей, мирян, которым противопоставляется духовенство¹⁸. Но «мирское» состояние, вопреки предположениям секулярных мыслителей, означает выход не из-под действия божественной воли, а всего лишь из-под действия воли духовенства, претендующего на представление божественной воли на земле. Поэтому изречение Фомы Аквинского *omnis potestas a Deo per populum* («вся власть от Бога через народ»)¹⁹ воспроизводит латинский афоризм *vox populi, vox Dei* («глас народа — глас Божий»), выражающий саму суть светскости. Модель демократической мирской политики, которую впервые предложил Фома Аквинский, позже разрабатывал Марсилиус Падуанский (1275–1342), родившийся через год после кончины «Ангельского доктора».

Суверенитет как власть господствующего

Однако в католическом мире подобный взгляд на демократию не прижился. Зато он обрел вторую жизнь в идее *ковенанта*, над которой работали пуританские теологи XVI–XVII столетий²⁰. Со своей стороны, такие философы, как Гоббс, Локк и Руссо, способствовали секуляризации этого понятия, заменив «ковенант» [юридически подтвержденное обязательство одной стороны перед другой на совершение (или несвершение) определенных действий. — *Прим. перев.*] на «договор»²¹. Как отмечает Фрэнсис Окли, если Гоббс пошел по пути радикального разрыва с традицией, то Локк в «Двух трактатах о правлении» приложил теологическую аргументацию своего труда «Разумность христианства» к анализу политических реалий, а Руссо вернул идее светского государственного устройства ее первоначальный смысл, заключенный в высказывании «глас народа —

глас Божий»²². Истоки этого расхождения, особенно заметного между Гоббсом и Локком, кроются в дихотомии «власть / суверенитет». Данная тема требует отдельного обсуждения, поэтому я здесь ограничусь констатацией того, что при рассмотрении состоявшегося в западной политике перехода от власти к суверенитету теория Локка просто незаменима.

Традиционно принято считать, что начало современной западной политической философии положил либо Макиавелли, либо Гоббс. На деле же еще задолго до них Вильгельм Оккамский (1280–1349), пытавшийся разрешить проблему теодицеи, разработал основные принципы, отличавшие общественно-политическую мысль Нового времени. Идеи этого философа способствовали уточнению понятия «суверенитет» в двух существенных отношениях: он, во-первых, подчеркивал значение абсолютной и неограниченной воли и, во-вторых, верил в то, что Бог способен преобразовать погрязший в грехах мир²³. Брайан Тирни, опираясь на работу Майкла Уилли, убедительно доказывает, что именно такие взгляды подтолкнули Оккама к отождествлению понятий *права (jus)* и *власти (potestas)*²⁴.

Противопоставление суверенитета как «возможности господствовать» и власти как «правомочного господства» оформилось во многом благодаря работам Жана Бодена (1530–1596). В «Левиафане» Гоббс предлагает решить проблему соотношения суверенитета и теодицеи, признав, что суверенитет Божественной власти обусловлен ее абсолютной природой. В отличие от Августина, одержимого идеей первородного греха, Гоббс полагал, что право причинять страдания человеку может быть обусловлено не грехами смертного существа, но всемогуществом Бога. Иначе говоря, как ранее утверждал и Оккам, всемогущий Бог располагает абсолютной властью как допускать зло, так и предотвращать его. Первоначально обладателями подобного суверенитета признавались «Бог, народ и король», но со временем формула видоизменилась: в ней стали подчеркивать суверенную природу таких номинальных агентур, как Библия, государство, нация и парламент²⁵.

В многочисленных современных исследованиях доказывается, что идея суверенитета была сформулирована в ходе секуляризации Европы для того, чтобы возвысить институт государства и создать новую политическую систему. Такую точку зрения высказывает, например, Даниэл Энгстер в работе «Божественный суверенитет». Однако Майкл Уилкс первым заметил, что концептуальный фундамент современного понятия государства составили заимствованные из церковного учения понятия «искусственный субъект» и «суверенитет»²⁶. После того как это произошло, на смену прежней политической борьбе между папством и монархией в западных обществах пришла новая политическая распря между церковью и государством или скорее борьба между светским и религиозным государством. Гоббс, следуя за Макиавелли, проложил дорогу к механистичной и безликой политической системе, наделив всемогуществом — правосубъектностью, комбинируемой с суверенитетом, — называемое Левиафаном государство, отныне призванное гарантировать поддержание формально-механистического порядка, а не обеспечение справедливости²⁷.

Локк и Руссо, которые жили в эпоху перемен, произвольно делали понятия «власть» и «суверенитет» взаимозаменяемыми. Например, если Локк пооче-

редно говорит то о «верховой власти», то о «наивысшем авторитете» (ТТГ, 302, 404), то у Руссо²⁸ появляется гибридное понятие «суверенная власть». В этом отношении, кстати, Локк разнится и с Гоббсом. Скрытое напряжение между властью и суверенитетом, в котором «право господствовать» противопоставляется «власти господствовать», становится очевидным при рассмотрении вопроса об отцовской власти. Локк, возражая Филмеру, отрицает отцовский суверенитет, который он определяет как «власть господствовать» (ТТГ, 358, 287, 356–361).

Господство, по его мнению, проявляется в способности принимать законы, в то время как отцовская власть, опирающаяся на выраженное или молчаливое согласие детей, ограничивается заботой о соблюдении детьми всеобщих универсальных законов.

При этом Локк считает,

что суверенитет (то есть «власть господствовать / производить законы») должен приписываться не абстракции, называемой государством, а Богу, а также народу и королю, действующим от Его имени. Таким образом, под суверенитетом Локк понимает власть, которая не может быть отчуждена у реально существующих людей, что следует из следующего его утверждения: «Законодательная власть — это та власть, которая имеет право указывать» (ТТГ, 409). [Локк Д. *Два трактата о правлении*. Кн. 2, гл. XII, 143 // Он же. *Соч.* Т. 3, с. 346.] Волюнтаристский подход Локка к определению власти противостоит рационалистическому подходу Гоббса, о чем пишет Данн: «В политической теории Локка нет такой категории, как легитимная власть, исходящая от человека. Всякая легитимность власти одного человека над другими людьми всегда и повсюду обеспечивается только Богом»²⁹.

Хотя Оккам отождествлял *право* (right) и *власть* (power), двумя словами, происходящими от общего индоевропейского корня «reg» и образовавшими слово *суверенитет*, являются *право* (right) и *правление* (reign)³⁰. Сказанное означает, что смысл этого термина должно составлять «верховное право», а не «верховная власть». Ученые-традиционалисты, подобные Локку, использовали понятие «суверенитет» в его этимологическом значении и потому сочетали термин «суверенитет» с традиционным пониманием «власти».

Здесь перед нами возникает проблема, касающаяся исторического обоснования противопоставления суверенитета и власти. По сути, английское слово rule («правление») является достаточно емким, чтобы охватить все ветви власти — законодательную, исполнительную и судебную. Именно это фиксирует Локк, когда пишет о «праве управлять, то есть создавать законы и устанавливать наказания» (ТТГ, 359). [Локк Д. *Соч.* Т. 3, с. 304.] Таким образом, правление, или власть осуществлять законодательные, исполнительные и

Опираясь на договорную природу государственности, Локк отвергал крайние взгляды, будь то теократические рассуждения о божественной природе королевской власти или секуляризм мыслителей, подобных Гоббсу

судебные функции, представляет собой единое целое, подобное голове тела, если рассуждать с позиций органической теории. Однако после краха Римской империи начался процесс распада политической сферы, который выразился в дроблении власти на папскую, королевскую и феодальную. Возникло, таким образом, состояние политомии (*polytomy*), «многоглавие», которое влекло за собой неустойчивость государства, которое теперь можно было уподобить повозке, увлекаемой в разные стороны несколькими лошадьми. Именно желание увенчать тело единственной головой подтолкнуло Бодена к определению суверенитета как «верховой власти».

Но, даже будучи названной верховной, власть неизбежно начинает качаться, если она не основана на договоре. И здесь возникает опасность впасть в другую крайность, то есть прийти к тирании как выродившейся форме абсолютизма, запечатленной в известной фразе Людовика XIV: «Государство — это я»³¹. Ощущая эту угрозу, Монтескье предложил сбалансировать верховную власть, разделив ее на части. Он не использовал словосочетание «разделение властей» в его привычном значении, поскольку руководствовался необходимостью установить баланс между монархией, аристократией и широкими слоями общества. Дробление власти по Монтескье, пришедшее на смену учению Бодена, привело к тому, что неявный зазор между властью и суверенитетом стал очевидным. В результате под вопросом оказались как правомочность власти, так и ее правомерность, а сами концепты «власть» и «суверенитет» стали еще более проблематичными.

Суверенитет в теологической перспективе

Разобравшись с предложенной Локком трактовкой суверенитета, мы теперь можем обратиться к вопросу о том, каким образом он примиряет его унитарную и монолитную природу с разнообразием его проявлений или, говоря иначе, как в его теории согласуются верховный характер и правомочность власти. *Суверенитет*, дословно определяемый как «господство верховной власти», предполагает исторически сложившуюся коннотацию с иерархией и главенством. В самом понятии власти, определяемой как «право господства», ощущается дух метафизического единства. Рассуждая на эту тему, можно предположить, что мы употребляем слово «право» во множественном числе лишь фигурально. В священных текстах, в частности в Коране, «право» всегда упоминают в единственном числе и с определенным артиклем: это призвано подчеркнуть единство и неделимость Права. (В английском языке аналогичное грамматическое оформление имеет неисчисляемое существительное «*knowledge*» — «знание».)

В свете сказанного выясняется, что понятие «разделение властей» вступает в конфликт с понятием «верховная власть». Данное противоречие можно объяснить, обратившись к некоторым особенностям истории и культуры Запада. Если рассматривать власть как структуру, конфигурация которой обусловлена социально, то в «трехчастном разделении властей» можно увидеть доктринальное выражение конкуренции трех социальных сил западного мира — политической, общественной и теологической, которым соответствуют монархия, феодализм и папство. При более под-

робном изучении этого вопроса мы обнаруживаем явную параллель между Божественной Троицей и троичным делением власти. Леон Дюги³², ученик Эмиля Дюркгейма, был первым, кто предположил, что модель разделения властей, выдвинутая Монтескье, отражает христианскую веру в Троицу. Одним из первопроходцев, разрабатывавшим эту сферу политической теологии, стал Джон Седлер (1615–1674), писавший в 1649 году: «Почему же Святая Троица не может найти свое воплощение в политическом теле — так же как она воплощается во всем живом?» Аналогичную мысль высказывают и современные ученые: «Даже не опираясь более на авторитет священных текстов, нельзя не отметить, что в трехчастном методе организации власти есть что-то мистическое»³³.

Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную предложил Джордж Лоусон, труд которого «*Politica Sacra and Civilis*», вышедший из печати в 1660 году, получил высокую оценку Локка. Вероятно, на исследования этого человека, который предложил, как следует из самого названия его книги, модель, основанную на Библии, опирался и Монтескье³⁴. Теологическое обоснование трехчастного конституционного разделения властей также появляется у Канта³⁵. Но в отличие от Локка и прочих, Лоусона больше интересовали природа разделения властей, а также их соотношение с Богом-Отцом, Богом-Сыном и Богом-Святым Духом, а не соотношение их друг с другом или независимость друг от друга³⁶. Таким образом, в классическом виде доктрина разделения властей на три ветви, предполагающая *соразмерное* использование верховной власти каждой из ипостасей триединого Бога, предполагает членение верховной власти по горизонтали.

По контрасту вертикальное, или двухчастное, разделение властей, привычное для традиционного мировоззрения, позволило Локку примирить неделимость суверенитета с многочисленными вариантами его использования. При таком двухчастном разделении ключевым вопросом оказывается иерархия суверенитетов, которая берет начало в двойственной природе абсолютного суверенитета Бога, ибо Божественный суверенитет делится на «абсолютно-Божественный» и «относительно-общественный», а последний, в свою очередь, распадается на «потенциальный» и «актуальный». Для Локка суверенитет в значении верховной власти означает верховенство и единство власти, переданной Богом народу, а от народа правителю посредством серии договоров (ТТГ, 412). Возражая таким сторонникам теократии, как Филмер, Локк утверждал, что *абсолютный* суверенитет принадлежит Богу, а *относительный* передан обществу как целому на основании соглашения между Богом и человеком, заключенного в Эдеме. В гражданской сфере относительный суверенитет, как уже говорилось, делится на две части: на *потенциальный* и *актуальный*. Потенциальный суверенитет общества, называемый *преемственностью*, означает обладание божественным авторитетом, а актуальный суверенитет, называемый *президентством*, приписывается монарху посредством публично-правового договора, закрепляющего потенциальный суверенитет общества.

Как было сказано ранее, по мнению Локка, «право, власть или суверенитет» в абсолютном виде принадлежат только Богу. На основании договора



Жан Кротти. Бог. 1916

с Богом, заключенного в Эдеме, человек неявно назван преемником Бога на земле. Поэтому на людей возложены функции, выражающиеся в типах условного суверенитета — «относительном, потенциальном либо актуальном», которые, в свою очередь, будут различаться лишь «земными», человеческими объемами, а не качественно различными видами, подразумеваемыми теологической доктриной троичного разделения властей.

В свете сказанного особую значимость приобретает то, какой смысл вкладывается в слово «власть». Путаница с современной интерпретацией разделения властей проистекает из-за двойственного значения слова «власть» в западных языках, где она выступает то как *потенциальная* возможность (например, «сила закона»), позволяющая делать что-либо, то как *наличествующая способность* действовать (например, «законодательные полномочия»)³⁷. В традиционалистской доктрине разделения властей, выдвинутой Локком, «власть» предстает в последнем значении, то есть как *наличествующая* способность, а не *потенциальная* возможность. Таким образом, в мире традиции на первый план выходило «разделение функций», вытекавшее из монолитности власти, то есть «административная независимость согласованно действующих властей, неразрывно связанных с единой верховной политической властью»³⁸. По этой причине некоторые критикуют Монтескье за то, что он не разобрался, как функционируют административные органы в политической системе Англии, а другие, напротив, нападают на последующие поколения ученых за то, что они не вполне поняли аргументацию Монтескье³⁹.

Разделение властей в конституционной перспективе

Говоря о разделении властей с точки зрения конституции, я подразумеваю соотношение этого понятия с принципом суверенитета. Одним из наиболее оригинальных новшеств, привнесенных Локком в политическую теорию, стало рассмотрение соотношения различных видов суверенитета и разделения властей. Согласно Локку, вертикальное, то есть двухчастное, разделение властей, при котором законодательная и исполнительная власти соотносятся между собой как высшая и низшая, отражает потенциальную и актуальную степени суверенитета. Подобное видение согласуется с традиционной органической теорией, которая выделяет две основные функции тела: «желание / поступок» или «воля / деяние», что соотносится с «принятием законов» и их «исполнением». Дуалистическое разделение властей также соответствует парам «общее право / общее благо», «общество / правительство», «общественный договор / политический договор», на которых строится вся теория Локка.

Руссо⁴⁰ уподобляет законодательствующего / проявляющего волю субъекта *сердцу* политического тела, а исполняющего / осуществляющего действие — *мозгу*, который приводит в движение все его части. Мозг, говорит он, может умереть, но человек при этом будет жить. Человек живет даже в дегенеративном состоянии, зато если перестает работать сердце, жизнь уходит. В отличие от Руссо, Локк видит средоточие воли в *душе*, а не в *сердце*. Он считает законодательный орган, объединяющий и сплачиваю-

щий представителей сообщества в единое живое тело, душой, придающей форму, жизнь и единство этому телу (ТТГ, 131, 403, 409–410, 455).

Поскольку господство в первую очередь означает создание законов, законотворчество есть сердцевина суверенитета, определяемого как «власть господствовать»; именно так трактовали его Боден, Локк и Руссо. Для Локка в любом обществе, имеющем правительство, может наличествовать только одна верховная власть — законодательная: «Ведь то, что может создавать законы для других, необходимо должно быть выше их; а поскольку законодательная власть является законодательной в обществе лишь потому, что она обладает правом создавать законы для всех частей и для каждого члена общества, предписывая им правила поведения и давая силу для наказания, когда они нарушены, постольку *законодательная власть* по необходимости должна быть *верховой* и все остальные власти в лице каких-либо членов или частей общества проистекают из нее и подчинены ей» (ТТГ, 413). [Локк Д. *Два трактата о правлении*. Кн. 2, гл. XIII, 150 // Он же. *Соч.* Т. 3, с. 350. — *Прим. научн. ред.*]

Раз «исполнительная власть» и «отправление правосудия» являются производными от «законотворчества», то есть от реализации законов и контроля над их исполнением, то только сообщество, у которого есть власть издавать законы, способно наделять других властью, требовать их исполнения и назначать наказания в случае неподчинения этому требованию. Однако издание законов является признаком лишь теоретического верховенства народа, его *потенциального суверенитета*. Локк не считает, что общество постоянно нуждается в создании все новых законов; прежде всего ему требуется исполнение уже принятых законов, созданных с целью повсеместного установления справедливости (ТТГ, 415). Поэтому помимо законодателя, наделенного суверенитетом в узком смысле, необходимо наличие политически авторитетного образования, которое будет обладать суверенитетом в наиболее широком смысле, то есть такой инстанции, с которой должны будут считаться и законодатели, и исполнители.

Обычно подлинным носителем этого суверенитета в широком смысле, охватывающего законотворчество, исполнение законов и отправление правосудия, является правитель. При таком подходе «суверен» есть «верховная власть». Локк полагает, что «в некоторых государствах, где *законодательный орган* не всегда действует, а *исполнительная власть* доверена одному лицу, которое также участвует и в законодательном органе, то это одно лицо с некоторой натяжкой можно также назвать *верховным*». Развивая эту мысль, он добавляет: «Не потому, что этот человек носит в себе всю верховную власть, каковой является власть законодательная, но потому, что он сам в себе носит право *верховного исполнения*, из чего проистекают все различные подчиненные виды власти или по крайней мере наибольшая часть их, которыми обладают все нижестоящие должностные лица; так как над ним нет вышестоящего законодательного органа, так как нет такого закона, который мог бы быть создан без его согласия, — а вряд ли можно ожидать, что будет такой закон, который когда-либо подчинит его остальной части законодательного органа, — то *он* вполне справедливо в этом отношении может быть назван *верховным*» (ТТГ, 414). [Локк Д. *Два трактата о правлении*. Кн. 2, гл. XIII, 150 // Он же. *Соч.* Т. 3, с. 350.]

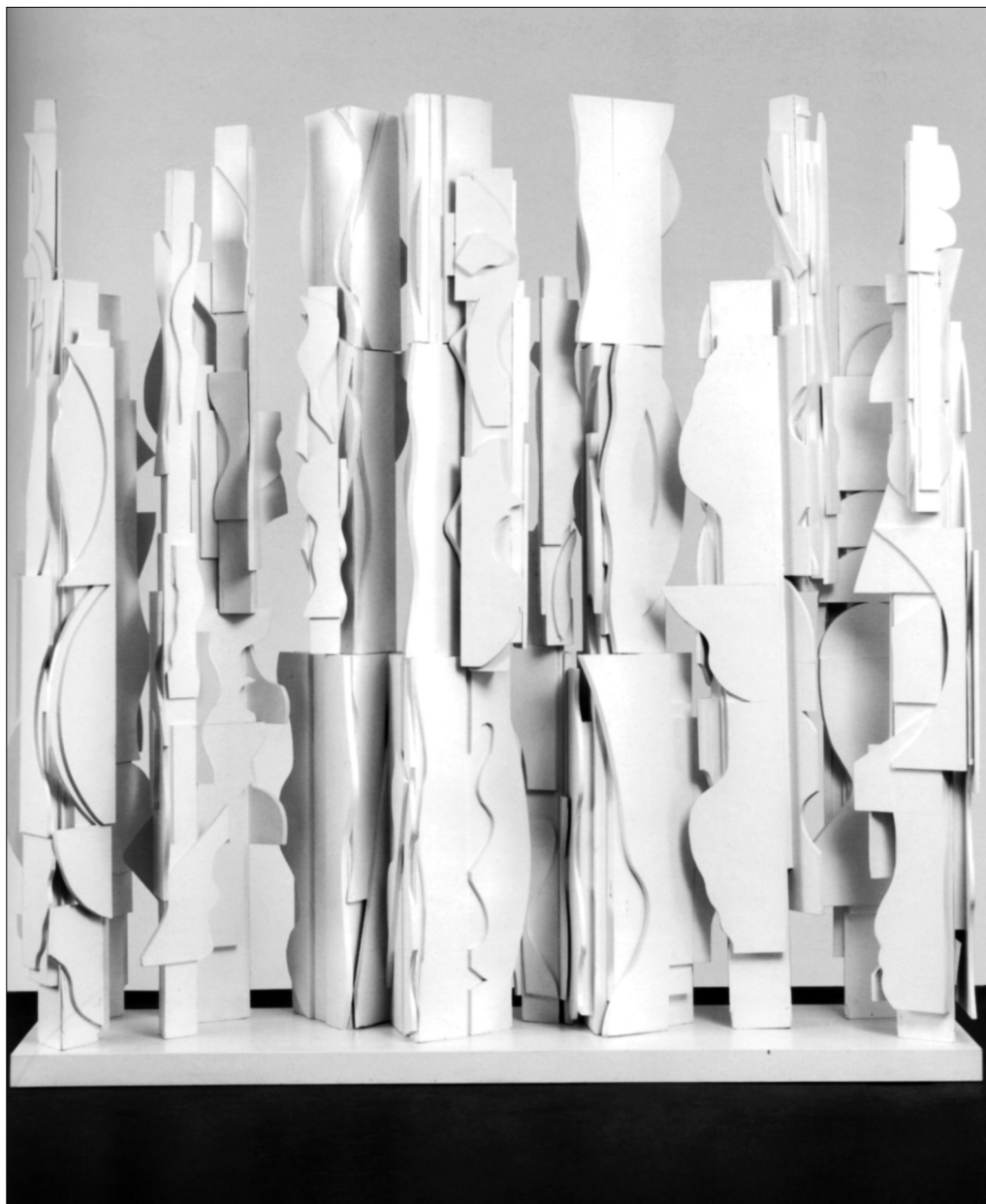
Любопытно, что в данном контексте Локк использует термин «верховенство» применительно не только к законотворчеству, но и к исполнению закона. На первый взгляд наличие двух «верховных властей» идет вразрез с общим пониманием суверенитета как «верховой власти», подразумевающим существование единственной верховной власти. Но при более подробном рассмотрении раскрывается безосновательность подобного предположения. Локк действительно утверждал, что в обществе может быть только одна верховная власть — законодательная, а исполнительный орган обладает только относительным верховенством, «верховенством с оговорками» (ТТГ, 413–415).

Поскольку власть, по существу, является верховной и неделимой, концепция двойственного верховенства властей предполагает проведение различия по *степени*, а не по *видам* «относительных человеческих суверенитетов», разделяемых на потенциальный и актуальный — в соответствии с трактовкой власти как наличествующей способности, а не потенциальной возможности. В то время как законодательство в абсолютном смысле, то есть Божественные законы и законы природы, указывает на абсолютный суверенитет Бога, то законодательство в относительной форме, то есть общественные законы, подразумевает относительный, *потенциальный* суверенитет общества. В противоположность этому исполнение законов, или право управления, проистекает из формального или неформального публичного договора, закрепляющего *актуальный* суверенитет монарха. Таким образом, подлинный, «потенциальный», суверенитет должен отождествляться с законотворчеством, а актуальный суверенитет — с его исполнением. В такой перспективе общество есть потенциальный суверен, то есть обладатель суверенитета, а король — лишь действительный суверен, суверенитетом распоряжающийся.

Локк воздерживается от столь же жесткого разграничения между *потенциальным* и *актуальным* суверенитетом, какого придерживается Жан Барбейрак в переводе работы Самуэля фон Пуфендорфа *De Jure Naturae et Gentium* («Закон природы и народов». 1662). Это обусловлено его традиционным недоверием к гипотетическим утверждениям. Он, вероятно, опасался, что подобное размежевание может породить мысль о различии в качестве, а не в степени, что неизбежно привело бы к злоупотреблению властью. То же опасение заметно и у Жан-Жака Бурламаки, возражавшего Барбейраку. Бурламаки считал безосновательной мысль о том, что народ, который сам передал верховную власть монарху, сможет сохранить собственное верховенство в отношении этого короля⁴¹.

Разделение властей в социальной перспективе

Локк стремится предложить и социальное обоснование дуализма, присущего суверенитету (ТТГ, 309–318, 313, 367–369). Он считает, что люди, живущие в естественном состоянии, используют две власти: исполнительную вместо законодательной, поскольку законы Природы имеют всеобщее действие, и власть вершить суд / наказывать, поскольку «каждый в этом состоянии является одновременно и судьей, и исполнителем закона приро-



Луиза Невельсон. Без названия (Столбы). 1976

ды». Локк поясняет: «Во-первых, это власть делать то, что он считает необходимым для сохранения себя и других в рамках закона природы, общего для всех. ... Другая власть, которой обладает человек в естественном состоянии, — это власть наказывать за преступления, совершенные против данного закона» (ТТГ, 397). [Локк Д. Два трактата о правлении. Кн. 2, гл. XIII, 150 // Он же. Соч. Т. 3, с. 335.] По мнению Локка, люди, живущие в естественном состоянии, готовы отказаться от власти наказывать ради обретения всеобщей, более совершенной справедливости, кото-

рая будет вершиться исключительно уполномоченными на то лицами и в соответствии с правилами, установленными обществом. «Вот это-то и является, — пишет он, — первоначальным *правом и источником как законодательной, так и исполнительной власти*, а равно и самих правительств, и обществ». (ТТГ, 397). [Локк Д. *Два трактата о правлении*. Кн. 2, гл. XIII, 150 // Он же. *Соч.* Т. 3, с. 336. — Прим. перев.]

Как и Хукер⁴², Локк считает, что человеческое сообщество, единое в естественном состоянии, при переходе в гражданское состояние разделяется на «общество» и «правительство». В гражданском состоянии появляются новые носители власти, но само число властей остается неизменным. Ключевой властью является законодательная, однако в естественном состоянии она не представляет интереса, поскольку законы природы и без того универсальны. При переходе в гражданское состояние власть исполнять законы, которой был наделен каждый, превращается в законодательное полномочие. Аналогичным образом власть вершить правосудие, которой в естественном состоянии обладал опять-таки каждый, после учреждения правительства превращается в полномочие исполнения законов. Таким образом, Локк закрепляет принадлежность *законодательной власти за обществом, а исполнительной — за правительством*, что также является пунктом пересечения его социальной теории с теорией политической (ТТГ, 397).

В данном случае Локк разграничивает общество и правительство исключительно с целью обосновать обособление законодательной и исполнительной власти. Это проявляется в этимологии и семантике используемых им понятий *community* («сообщество»), *common-law* («общее право»), *common-wealth* («общее благо» / «государство»). Слово *community* происходит от латинского слова *communis* («общий»), появление которого в связке с такими словами, как право, богатство, смысл, вкус, мнение, позволяет перевести стоящие за ними фундаментальные концепты в материальную плоскость.

Обосновывая наличие правительства необходимостью обеспечивать справедливость, Локк показывает себя сторонником традиционного, инструментального взгляда на назначение политики (ТТГ, 109, 344, 373, 395–400). Подобно ему, Марсилиус Падуанский также видел наиболее важную функцию правительства в судействе⁴³. Отправлять справедливость — значит воздавать каждому должное. Кардинальную важность имеет то, что Локк раскрывает идею права через понятие «собственность». Под собственностью он имеет в виду самые важные вещи, которыми могут обладать люди, включая имущество; подтверждается такая трактовка тем, что иногда вместо термина «право» он использует термин «право собственности». Рассуждая о правосудии, Локк объединяет в существительном «собственность» жизнь, свободу и имущество. По замечанию Винера, обращаясь к концепту собственности, Локк имеет в виду конкретную форму права, включающую, в частности, и право на обладание материальными вещами⁴⁴.

Предложенная Локком интерпретация термина «собственность» опирается на традиционное понимание справедливости. Конечной целью человека, рожденного свободным, является сохранение естественного

«равенства в свободе» и после перехода в общественное состояние. Социальная стратификация, однако, может возвысить одних людей над другими, что нарушит их врожденную свободу. Таким образом *справедливость*, определяемая как «равенство в свободе», может быть обеспечена только в условиях экономического равенства, называемого «благосостоянием», которое предотвратит возвышение одних людей над другими на основании той степени, в какой удовлетворяются человеческие потребности. Тот факт, что понятие «должное» проистекает из слова «долг», раскрывает экономическую суть справедливости⁴⁵. Поэтому поддерживать справедливость, как указывал еще Аристотель, означает обеспечивать всеобщее благосостояние путем распределения общих богатств в обществе⁴⁶.

Изначально *богатство* понималось как *благосостояние* (англ. *welfare*). Его связь со справедливостью выражена словосочетанием «*всеобщее благо*» (англ. *common wealth*), использовавшимся с незапамятных времен. Согласно философам-традиционалистам, всеобщее благосостояние выступает желаемой целью для любого человеческого коллектива; именно поэтому оно фактически составило основу нового понятия, обозначающего организованное сообщество — *commonwealth*. Используя термины «правительство» и «империя» для описания форм политической организации, Локк применяет термин *commonwealth* в значении «независимое сообщество» (аналогично греческому *polis* или латинскому *civitas*), а не «демократия» или какая-либо иная форма правления (ТТГ, 367, 399, 400). Однако начиная с XVII века, с развитием капитализма, термин «благо» стал отождествляться с материальным богатством, что нашло свое отражение в названии труда Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов».

Локк полагает, что сообщество, появившееся как результат единого основополагающего договора, разделяется на «общество», которое возьмет на себя законодательную функцию и будет производить «общее право», и правительство, которое будет исполнять законы общего права, обеспечивая тем самым «общее благосостояние» (*common wealth*). Таким образом, нынешняя путаница в соотношении понятий «сообщество» и «общество» — результат анахронизма, обусловившего неправильное понимание подхода Локка к данному вопросу.

Разделение властей в политической перспективе

В данном случае речь пойдет о том, как Локк представлял разделение властей в административном плане (ТТГ, 132, 133, 410, 412). В законодательной и исполнительной власти — *jurisdiction* и *gubernaculum* в терминах древней английской конституции — он видит основные полномочия правительства⁴⁷. По его утверждению, в устоявшемся государстве, если оно самостоятельно и действует согласно собственной природе, то есть руководствуется целью сохранения сообщества, может быть только одна верховная власть — законодательная, по отношению к которой все прочие должны быть подотчетными. Некоторым исследователям подобный под-

ход кажется противоречивым, другие же говорят, что Локк не принимал необходимость разделения властей как догму, но считал, что она определяется политическим удобством⁴⁸. В частности, по мнению Лассета, Локк размышляет о «разделении функций» власти, но не «властей» как таковых (TTG, 132, 412).

Как мне кажется, есть два объяснения трактовки понятия «разделение властей», к которой обращается Локк. Во-первых, это неделимость законодательной власти, с которой отождествляется верховная власть. Во-вторых, это попытка примирить право и политическое устройство как должное и сущее. На практике эти сферы должны действовать заодно, несмотря на различную природу: в праве теоретизируют и предписывают, а в политике действуют и описывают. Вследствие этого, как отмечает Сури Ратнапала, природа различий, с одной стороны, между *jurisdiction* и *gubernaculum* и, с другой стороны, между законом и практикой его реализации не идентична⁴⁹. Разграничение *jurisdiction* и *gubernaculum* служит для сближения политических реалий средневековой Англии с существующим в теории различием между «созданием и исполнением закона».

Во-первых, *gubernaculum* обозначает не столько само исполнение закона, сколько определенную область правления, где вследствие прецедента король действует сугубо по собственному усмотрению. Во-вторых, *jurisdiction* — это не столько общая способность устанавливать законы, сколько власть, проявляющаяся в возможности воздействовать на древние права, закрепленные в общем праве. Суждение Локка о количестве властей, составляющих администрацию, а также об их функциях одновременно является и дескриптивным, и нормативным, поскольку эмпирически оно стало результатом его попытки примирить практику и принцип, реальность и идеал.

Ключевым моментом в попытке Локка свести воедино закон и государственное устройство становится понятие прерогативы. В последние годы этот концепт, чуждый рационалистическому пониманию политики и возникший вследствие переменчивой и прагматической природы государственного устройства, подвергся подробному изучению⁵⁰. Прерогатива, появившаяся в результате попытки примирить *jurisdiction* и *gubernaculum*, уполномочивает орган власти подыскивать нерегламентированные решения *ad hoc* для поддержания эффективности управления в сложных обстоятельствах. Прерогатива предоставляет больше места для маневра при трактовке понятия «разделение властей» как «разделение функций». Такое понимание явно проступает в названии одной из глав труда Локка «Два трактата о правлении» — «О соподчиненности властей в государстве». Локк пишет, что, несмотря на сущностное различие между исполнительной и федеративной властью, их сложно отделить друг от друга и передать в руки разных людей⁵¹. Под «сущностью» в данном контексте подразумевается функционирование, то есть разделение властей *de jure* при сохранении единства *de facto*. Локк акцентирует внимание на значении надлежащего отправления функций каждой из этих властей, поскольку их взаимодействие через прерогативы, предоставленные законодательной и федеративной властям, основывается на верховенстве законодатель-

ной власти и «доверии» между ними, но не на четком «разделении» (ТТГ, 133, 412–420).

У Локка не найти традиционного трехчастного деления властей на исполнительную, законодательную и судебную; вместо судебной он выделяет федеративную власть. Такое деление не является деформацией идеи Троицы как образца для разделения властей, как это было у Монтескье. При ближайшем рассмотрении федеративная власть, определявшая ведение внешней политики, оказывается, вопреки возможным предположениям, не полностью самостоятельной (ТТГ, 411)⁵². Хотя исполнительная власть занимается исполнением муниципальных законов внутри самого общества, а федеративная ведает вопросами безопасности и действует в сфере публичного интереса, фактически они едины. Основное различие между ними — относительная автономия внешней политики, поскольку ее осуществление не подчиняется внутренним законам в той же мере, какая отличает внутреннюю политику. Поэтому ведение внешней политикой следует поручать мудрым и благоразумным людям. Как мы видим, в данном случае речь идет о *прерогативе*, а не о *разделении*.

Ответ Локка на вопрос о том, самостоятельна ли федеративная или судебная власть, можно найти, рассмотрев широкое и узкое понимание «исполнения». В Англии XVII века преобладали иерархические взгляды на устройство правительства, в соответствии с которыми судебная функция была распределена между законодательной и исполнительной властью. В определенном смысле по отношению к законодательной власти исполнительная и судебная власти идентичны, но при этом функция исполнения законов является производной от основополагающей власти устанавливать справедливость и подчинена ей⁵³.

В системе Локка исполнительная власть в узком смысле означает принудительную силу для установления и исполнения законов внутри государства. При такой трактовке отправление правосудия, исполнение законов или применение действующих статут в сложных ситуациях охватывается исполнительной властью. Однако Локк никогда не упоминает судебную власть, необходимость независимости которой для конституционного правления признавалась как его предшественниками, так и его последователями, когда они рассуждали о разделении властей (ТТГ, 133, 411)⁵⁴. С другой стороны, в широком смысле исполнительная власть, или правительство, охватывает также внешнюю политику, где использование принуждения ограничено, вследствие чего она менее зависит от правовых установлений и более полагается на благоразумие, чем на юридические знания⁵⁵.

Локк не идет дальше поддержки принципа беспристрастности, справедливости и правомочности судебной власти, поскольку, с его точки зрения, она не является самостоятельной. В традиционных государствах, таких как Англия или Османская империя, судебными функциями наделялась как исполнительная, так и законодательная власть. Поэтому Монтескье, который не сумел понять сложный алгоритм функционирования судебной власти в Англии, ошибочно воспринимал ее как самостоятельную ветвь.

Заключение

Таким образом, Локк примиряет традицию и модерн, подвергая переосмыслению составные части упоминаемых мною дихотомий: «господство — подчинение», «общество — правительство», «законодательная власть — исполнительная власть», «Богочеловеческое сообщество». Наибольшим достижением Локка является то, что в процессе этого примирения он сумел с идеальной точностью свести воедино традиционные теологические, социальные и политические теории, избежав при этом крайностей.

Перевод с английского Екатерины Захаровой

Научная редакция Андрея Захарова,

к. филос. н., доцента факультета истории, политологии и права РГГУ

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Bedri Gencer. Sovereignty and the Separation of Powers in John Locke // *The European Legacy*, 2010. Vol. 15, № 3. — P. 323–339.

² William Graham. *English Political Philosophy from Hobbes to Maine*. — London: E. Arnold, 1899. — P. 50.

³ Об отказе Гоббса от аристотелевского мировоззрения см.: Leo Strauss. *The Political Philosophy of Hobbes: Its Basis and Its Genesis*. — Chicago, IL: University of Chicago Press, 1963. — P. VIII, 33, 79, 133, 136, 139, 166.

⁴ См.: Jeremy Waldron. *God, Locke and Equality: Christian Foundations of Locke's Political Thought*. — Cambridge: Cambridge University Press, 2002. — P. 44.

⁵ Дана высказывается об особенностях своего подхода следующим образом: «Ключевым новшеством выступает, по-видимому, подчеркивание принципиальной важности религиозных убеждений Локка для понимания сути его теории. Многие из тех, кто работал с наследием Локка, в той или иной степени приблизились к пониманию этого момента». См.: John Dunn. *The Political Thought of John Locke*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1995. — P. XI, XII.

⁶ См.: Winthrop S. Hudson. *John Locke, Heir of Puritan Political Theorists* // George L. Hunt (Ed.). *Calvinism and The Political Order: Essays Prepared for The Woodrow Wilson Lectureship of The National Presbyterian Center*. Washington, D.C. — Philadelphia, PA: Westminster, 1965. — P. 108–129, 210–213; James Tully. *A Discourse on Property: John Locke and His Adversaries*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1980; James Tully. *An Approach to Political Philosophy: Locke in Contexts*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1993; Richard Ashcraft. *Revolutionary Politics and Locke's Two Treatises of Government*. — Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986; Ian Harris. *The Mind of John Locke: A Study of Political Theory in Its Intellectual Setting*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1994; John Marshall. *John Locke: Resistance, Religion, and Responsibility*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1994; Kim Ian Parker. *The Biblical Politics of John Locke*. — Waterloo, IA: Wilfrid Laurier University Press, 2004; Joanne E. Tetlow. *The Theological Context of John Locke's Political Thought*. PhD diss., The Catholic University of America, 2006; Jeremy Waldron. *Op. cit.*

⁷ John Locke. *Two Treatises of Government*. — New York: Mentor, 1965. — P. 310, 318, 351. [Далее эта работа обозначается аббревиатурой TTG.] Об идейной преемственности между Локком и Хукером см.: Alexander S. Rosenthal. *Crown under Law: Richard Hooker, John Locke and the Ascent of Modern Constitutionalism*. — Lanham, KY: Lexington, 2008. — P. 143–306.

⁸ О понятиях «истинного традиционного» и «обновленного традиционного», посредством которых в данном тексте характеризуется Локк, см.: Clifford Geertz. *The Interpretation of Cultures*. — New York: Basic Books, 1973. — P. 219. По мнению Гирца, в системах «истинного традиционализма» акторы действуют по привычке и инерции, но когда состоятельность системы оказывается под сомнением, возникает потребность в поиске аргументов, способных реанимировать традицию. Причем «если они преуспевают в этом, то происходит не возврат к наивному традиционализму, а идеологическая ретрадиционализация».

⁹ Glenn A. Moos. *Locke Ascending* // *Eighteenth-Century Studies*. 2007. Vol. 40. № 3. — P. 482–486; Alex Scott Tuckness. *The Coherence of a Mind: John Locke and the Law of Nature* // *Journal of the History of Philosophy*. 1999. Vol. 37. № 1. — P. 73–90.

¹⁰ C.B. Macpherson. *The Social Bearing of Locke's Political Theory* // *The Western Political Quarterly*. 1954. Vol. 7. № 1. — P. 1–22; Eva J. Ross. *The Social Theory of Jean Bodin* // *The American Catholic Sociological Review*. 1946. Vol. 7. № 4. — P. 267–272.

¹¹ См.: Carl Schmitt. *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*. 2nd ed. [1922]. — Cambridge, MA: MIT Press, 1988.

¹² Julian H. Franklin. *John Locke and the Theory of Sovereignty: Mixed Monarchy and the Right of Resistance in the Political Thought of the English Revolution*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1981. См. также: Stuart Sim, David Walker. *The Discourse of Sovereignty, Hobbes To Fielding: The State of Nature and the Nature of the State*. — Aldershot, UK: Ashgate, 2003.

¹³ Leonard Barkan. *Nature's Work of Art: The Human Body as Image of the World*. — New Haven, CT: Yale University Press, 1975.

¹⁴ Jean-Jacques Rousseau. *The Social Contract and Discourse on the Origin of Inequality*. — New York: Pocket Books, 1967. — P. 93. [Руссо Ж.-Ж. *Об общественном договоре*. Книга 3. Глава XI. — *Прим. научн. ред.*]

¹⁵ Более подробно этот вопрос был разработан Жан-Жаком Бурламаки. См.: Jean-Jacques Burlamaqui. *The Principles of Natural and Politic Law*. — Indianapolis, IN: Liberty, 2006. — P. 92–103.

¹⁶ J.R. Milton. *Locke, Medicine and the Mechanical Philosophy* // *British Journal for the History of Philosophy*. June 2001. Vol. 9. № 2. — P. 221–243.

¹⁷ Thomas Hobbes. *Leviathan*. — Oxford: Oxford University Press, 1996. — P. 107, 222.

¹⁸ См.: *The Complete WordStudy Dictionary: New Testament*. — Chattanooga, TN: AMG, 1992. — P. 911.

¹⁹ Jacques Ellul. *The New Demons*. — New York: Seabury, 1975. — P. 16.

²⁰ См.: Edmund Morgan (Ed.). *Puritan Political Ideas, 1558–1794*. — Indianapolis, IN: Hackett, 2003.

²¹ John Wiedhofft Gough. *The Social Contract: A Critical Study of Its Development*. 2nd ed. — Oxford: Clarendon, 1957; Harro Hopfl, Martyn Thompson. *The History of Contract as a Motif in Political Thought* // *The American Historical Review*. October 1979. Vol. 84. № 4. — P. 919–944; Daniel J. Elazar. *The Political Theory of Covenant: Biblical Origins and Modern Developments* // *Publius*. Autumn 1980. Vol. 10. № 4. — P. 3–30.

²² Francis Oakley. *Legitimation by Consent: The Question of Medieval Roots* // *Viator*, 1983. Vol. 14. — P. 335.

²³ Daniel Engster. *Divine Sovereignty: The Origins of Modern State Power*. — Dekalb, IL: Northern Illinois University Press, 2001. — P. 4–12, 158.

²⁴ См.: Brian Tierney. *The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law, 1150–1625*. — Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1997.

²⁵ Thomas Hobbes. *Op. cit.* — P. 237.

²⁶ См.: Michael J. Wilks. *The Problem of Sovereignty in the Later Middle Ages: The Papal Monarchy with Augustinus Triumphus and the Publicists Book*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1963.

²⁷ См.: Harvey C. Mansfield Jr. *On the Impersonality of the Modern State: A Comment on Machiavelli's Use of Stato* // *The American Political Science Review*. December 1983. Vol. 77.

- № 4. — P. 849–857; Quentin Skinner. *Hobbes and the Purely Artificial Person of the State* // Journal of Political Philosophy. March 1999. Vol. 7. № 1. — P. 1–29.
- ²⁸ Jean-Jacques Rousseau. *Op. cit.* — P. 93.
- ²⁹ John Dunn. *Op. cit.* — P. 127.
- ³⁰ *The American Heritage Dictionary of the English Language*. 3rd ed. — Boston, MA: Houghton Mifflin, 1992. — P. 2121.
- ³¹ Herbert H. Rowen. 'L'Etat c'est Moi': *Louis XIV and the State* // French Historical Studies. Spring 1961. Vol. 2. № 1. — P. 83–98.
- ³² Léon Duguit. *The Law and the State* // Harvard Law Review. 1917. Vol. 31. № 1. — P. 1–185.
- ³³ M.J.C. Vile. *Constitutionalism and the Separation of Powers*. — Indianapolis, IN: Liberty, 1998. — P. 16.
- ³⁴ Martin H. Redish, Elizabeth J. Cisar. "If Angels Were to Govern": *The Need for Pragmatic Formalism in Separation of Powers Theory* // Duke Law Journal, 1991. Vol. 41. № 3. — P. 449–506.
- ³⁵ Immanuel Kant. *Political Writings*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1977. — P. 138.
- ³⁶ John Locke. TTG. — P. 411.
- ³⁷ См.: Brian Tierney. *Medieval Rights and Powers: On a Recent Interpretation* // History of Political Thought. 2000. Vol. 21. № 2. — P. 327–338; см. также: M.J.C. Vile. *Op. cit.* — P. 18.
- ³⁸ John P. Humphrey. *The Theory of the Separation of Functions* // The University of Toronto Law Journal. 1946. Vol. 6. № 2. — P. 331–360; M.J.C. Vile. *Op. cit.* — P. 16.
- ³⁹ James T. Brand. *Montesquieu and the Separation of Powers* // Oregon Law Review, 1933. Vol. 12. № 3. — P. 175–200; Laurence Claus. *Montesquieu's Mistakes and the True Meaning of Separation* // Oxford Journal of Legal Studies, 2005. Vol. 25. № 3. — P. 419–451.
- ⁴⁰ Jean- Jacques Rousseau. *Op. cit.* — P. 93.
- ⁴¹ Jean- Jacques Burlamaqui. *Op. cit.* — P. 310.
- ⁴² Alexander S. Rosenthal. *Op. cit.* — P. 110, 220.
- ⁴³ M.J.C. Vile. *Op. cit.* — P. 30.
- ⁴⁴ См. также: Walton H. Hamilton. *Property - According to Locke* // The Yale Law Journal. 1932. Vol. 41. № 6. — P. 867.
- ⁴⁵ Elmer T. Gelinas. *Ius and Lex in Thomas Aquinas* // American Journal of Jurisprudence. 1970. Vol. 15. — P. 155–156.
- ⁴⁶ Peter Manicas. *Two Concepts of Justice* // Journal of Chinese Philosophy, 1977. Vol. 4. № 2. — P. 99–121; William Mathie. *Political and Distributive Justice in the Political Science of Aristotle* // The Review of Politics. 1987. Vol. 49. № 1. — P. 59–84.
- ⁴⁷ Suri Ratnapala. *John Locke's Doctrine of the Separation of Powers: A Re-evaluation* // American Journal of Jurisprudence. 1993. № 38. — P. 189–220; M.J.C. Vile. *Op. cit.* — P. 33.
- ⁴⁸ John Wiedhofft Gough. *John Locke's Political Philosophy: Eight Studies*. — Oxford: Clarendon, 1950. — P. 96.
- ⁴⁹ Suri Ratnapala. *Op. cit.* — P. 197.
- ⁵⁰ Для дальнейшего изучения вопроса см.: John Dunn. *Op. cit.* — P. 148–156; Pasquale Pasquino. *Locke on King's Prerogative* // Political Theory. 1998. Vol. 26. № 2. — P. 198–208; Clement Fatovic. *Constitutionalism and Contingency: Locke's Theory of Prerogative* // History of Political Thought. 2004. Vol. 25. № 2. — P. 276–297.
- ⁵¹ Для дальнейшего изучения вопроса см.: David McCabe. *John Locke and the Argument against Strict Separation* // The Review of Politics. 1997. Vol. 59. № 2. — P. 233–258; Suri Ratnapala. *Op. cit.*
- ⁵² Suri Ratnapala. *Op. cit.* — P. 202, 205.
- ⁵³ M.J.C. Vile. *Op. cit.* — P. 33–34.
- ⁵⁴ См. также: M.J.C. Vile. *Op. cit.* — P. 34.
- ⁵⁵ Suri Ratnapala. *Op. cit.* — P. 204–205.

Современная гражданская модель в Польше и западные модели*

Томаш Зарицкий,
профессор, директор Института социальных исследований Варшавского университета;

Рафал Смочиньский,
сотрудник Института философии и социологии Польской академии наук

Доминирующая в Польше модель гражданства опирается на универсализацию традиционных шляхетских идеалов, заимствованных из представлений о политическом устройстве Первой Речи Посполитой. Следует отметить, что каждой модели гражданства соответствуют определенные качества хорошего (идеального) гражданина. Такая модель обычно исторически четко обусловлена и является отсылкой к конкретным историческим повествованиям. Вместе с тем у нее есть сильные универсализирующие аспекты, выраженные в трактовке этой модели как очевидной и нейтральной. В результате ее вписывают в дискурсы, методы регулирования и практики госаппарата и связанных с ним учреждений. Модель современного гражданства всегда по замыслу инклюзивная, и прежде всего эгалитарная — граждане равны в правах и обязанностях. Однако одновременно является инструментом более или менее скрытых практик иерархизации и исключения. Эти практики следует рассматривать в перспективе определенной, неясной или неосознаваемой идеологии

«типа идеального гражданина» (функционирующей как докса в языке теории французского социолога Пьера Бурдьё). Эта идеология становится эталоном в оценке степени гражданского «совершенства», приобретаемого отдельными группами и личностями.

Вслед за Джеффри Александером (2006) следует отметить, что модель гражданства может рассматриваться как светская религия современных обществ. Она, подобно каждой религии, не только содержит универсалистские и эгалитарные элементы, но и оперирует четкими критериями нравственной оценки, апеллируя к необходимости «работать над своим совершенствованием». В случае гражданской культуры совершенство — это полное соответствие идеалам «хорошего гражданина». В некотором смысле Александер разделяет здесь суждение Руссо о том, что гражданская религия необходима каждому обществу, которое стремится к демократизации.

Многообразие моделей гражданства

Западная модель гражданства далеко не единственная в социальном простран-

* Фрагмент книги «Totem inteligencji: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej» (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe «Scholar», 2016).

стве (Isin, 1997). Самая узнаваемая среди прочих — французская модель — зародилась во времена Французской революции. Она является примером универсализации мещанских (буржуазных) идеалов, признанных в западном мире как очевидная и нейтральная точка отсчета и принимаемых общественными науками в качестве идеальной модели. В этой модели мещанин декларируется «независимым» от аристократии, и прежде всего — от абсолютного монарха, выступает с позиций освободительной идеологии. Согласно этому идеалу, полноценным гражданином может стать каждый, если он отвечает мещанским (буржуазным) критериям гражданственности, проявляя предприимчивость, самодисциплину и нравственную сдержанность, в значительной степени согласно протестантскому этосу труда и солидарности.

Польской гражданской модели более соответствует английская модель, с гораздо более слабой, чем французская, революционной составляющей. Английская модель была основана на идеале симбиоза буржуазии с аристократией, но главное, в отличие от польской, она предполагает бесконфликтное сосуществование (а также конкуренцию), помещиков и буржуазии. Между тем в Польше мы имеем дело с моделью сосуществования и конкуренции помещиков с интеллигенцией (а не с буржуазией). Возможно, польскую модель можно признать немного похожей на американскую, так как она является «постколониальной» (созданной в рамках борьбы с зависимостью от империи), а также содержит идею демократизации бывшей элитарной модели политического строя (шляхетской демократии). В американском случае речь шла об освобождении от власти Британии и разрыве с английской феодальной системой социальной иерархии. В польском случае речь шла об избавлении от трех захватчиков, которые были также госу-

дарствами с архаичной социальной структурой, защищавшие интересы своих нефеодалных элит и поддерживавших самые консервативные слои традиционных польских сословных элит. Следовательно, Соединенные Штаты Америки — это еще более универсалистский пример демократизации старой системы феодального представительства, чем Великобритания. При этом следует помнить о существенных различиях между Польшей и США, в частности о том, что периферийная элита США становилась и элитой экономической, построив собственную автономную экономическую систему, которая со временем стала ядром мировой системы. В то же время Польша (начиная со Второй Речи Посполитой, 1918–1939) развивалась без значительного накопления экономического капитала. В литературе также известна модель немецкой образованной буржуазии (*Bildungsbürgertum*; см. Conze, Koska 1985), которая, однако, не может быть отождествлена с интеллигенцией. Как показал один из авторов (T. Zarucki 2009), классическая образованная буржуазия определяется наличием дипломов о соответствующем образовании, а также занятием государственных должностей. Польская же интеллигенция ассоциируется с этосом не только академического образования, но и гораздо более глубокой «культурности» применительно к отправлению различных социальных функций.

Можно сказать, что современный польский интеллигент — это скорее землевладелец/аристократ, чем мещанин-буржуа, хотя польский мещанин также де-факто является интеллигентом. Следует помнить, что среди модификаций помещичьих идеалов в среде интеллигенции появились и элементы буржуазного индивидуализма, хотя во многих других аспектах она придавала большую значимость идеалам, очень далеким от мещанских (в



Арман Фернандес. Композиция. 1982

частности, навязала неэкономические ценности, которые, однако, не следует путать со шляхетскими антикоммерческими предубеждениями). В этом контексте полезно сравнение этосов оппозиционных элит Польши и ГДР, которое

провела социолог Хелена Флам (1999). Она показала, что восточнонемецкие оппозиционеры действовали под влиянием мещанского этоса, в котором статус определялся прежде всего стабильным материальным обеспечением (и это

значило, что они не были готовы действовать радикально). Между тем идеалом польского этоса был «рыцарь», который сражался за свободу народа и жертвовал ради этого материальными и даже семейными ценностями.

Международный контекст

Исторический генезис нынешней конфигурации бинарных гражданских кодов в большинстве обществ изучен мало. Тем не менее его можно реконструировать, чтобы показать, как в исторической перспективе отдельные группы включались в гражданское сообщество. С точки зрения Джеффри Александера, формирование первого поколения гражданского общества в США и Англии следует рассматривать в перспективе напряженности между идеологическими сферами протестантского капитализма, который выходил на первый план, и католического аристократизма, основанного на старинном рыцарском этосе. Уже английскую Славную революцию (Glorious Revolution) можно воспринять как победу протестантского истеблишмента над прокатолическим, абсолютистским Яковом II и его феодальным двором (Bukowska, 2010). Стоит отметить, что для принятия этой оппозиции многое сделали сами представители социальных наук, во главе с Максом Вебером, идеализирующим роль протестантского этоса в строительстве современного капитализма (Weber, 1992). Дерек Хитер обращает в этом контексте внимание на то, что возникновение современной гражданской культуры можно считать модернизацией системы легитимности социального неравенства (Heater 1999). С этим осовремениванием система неравенства (как в общественной, так и территориальной иерархиях) де-юре превратилась в систему неравенства де-факто (уравнивание граждан и всех частей государства, в

основе национального). Особенно это заметно в случае Французской республики, которая строит модель гражданства в оппозиции к династическим началам, корпоративным и территориальным привилегиям. Как отмечает Казимир Сова, любопытно, что США приняли другую модель (Sowa, 2012). В то время как якобинцы во Франции ввели законы, запрещающие объединения, рассматривая их как орудия угнетения народа привилегированными группами, в США свобода объединений с самого начала расценивалась как фундаментальное гражданское право.

В литературе обычно выделяются два исторических подхода к моделям гражданства: республиканский, акцентирующий значение гражданских обязанностей, и либеральный, подчеркивающий значение гражданских прав. Обе модели восходят к временам античности, идеям греческого полиса и Римской империи. Как отмечает Химена Буковска, римское наследие несет с собой противоречие, до сих пор существующее в концепции гражданского общества (Bukowska, 2010). С одной стороны, эта концепция выражает обещание римского гражданства всем свободным мужчинам (присутствующее уже в римской идее перехода от полиса к космополису), с другой стороны, исключает рабов и женщин, а также вводит ряд внутренних иерархий и делений: на курии (центурии) и классы, организованные в зависимости от статуса рода, возраста и места жительства. Различные модели гражданства итальянских городов-государств (città-Stato) также сочетают идеи равенства с сохранением привилегий олигархии, корпоративности. Эти привилегии удачно использовала плутократия для сохранения своего привилегированного положения, что имело место и в аристократической Венеции, и в демократичной Флоренции. В XVIII веке в некоторых местностях

Европы стало принято определение гражданства как принадлежности к определенной политической общности. Формируется просветительская идея надклассового единства «людей» — народа, проживающего на общей территории, с сильной универсалистско-космополитической составляющей. Кроме оппозиции к абсолютизму монарха появилась оппозиция к аристократии с ее лояльностью, простирающейся за пределы государственных границ, в то же время развитие классовых различий сопровождалось укреплением гражданского равенства, что можно признать очередным парадоксом уравнительной идеологии гражданства. Ключевыми институтами расширяющейся сферы гражданского эгалитаризма в национальном государстве XIX века стали армия и школа. Как отмечает Роджерс Брубейкер, в рамках обсуждаемых здесь процессов границы между социальными слоями переместились на границы между государствами (Brubaker, 1992).

Немного другие акценты в дискуссии о расширении сферы гражданских прав в западных обществах расставил Томас Маршалл (1964). По его мнению, основное новшество в универсализации гражданских прав касалось распространения привилегий свободы слова, вероисповедания, права на справедливый суд и всеобщего права собственности. В дальнейшем, согласно Маршаллу, универсализация достигла политических и, наконец, социальных прав (право на образование, здравоохранение). Формально основные права появились первыми, однако, как отмечает Маршалл, до сих пор их всеобщая доступность нередко далека от совершенства. Примером является неравный доступ к правосудию, например, из-за высокой, а иногда чрезмерно высокой стоимости судопроизводства. Во многих случаях расширение гражданских прав чрезвычайно затянулось. Например, рас-

пространение избирательного права в Великобритании было осуществлено в процессе шести реформ (с 1832 по 1969 год). Нельзя забывать, что еще в 1852 году меньше чем 20% населения Великобритании имели право голосовать. В логике Маршалла здесь можно отметить, что с формальной точки зрения гражданские права в Великобритании еще полностью не реализованы. Ведь отсутствие конституции означает в некотором смысле отсутствие окончательно определенных границ гражданственности. Сувереном остается монарх, который сделал только определенные уступки в пользу подданных. Кроме этого, как отмечает Дерек Хитер, по-прежнему существует формальная иерархизация британских граждан на такие категории, как гражданин Великобритании (*British citizens*), гражданин зависимых территорий Великобритании (*British dependent territories citizens*), заморские британские граждане, британские граждане, постоянно проживающие за границей (*British overseas citizens*), подданный Великобритании (*British subject*) и лица, состоящие под британским покровительством (*British protected persons*). Любопытно, что в середине XIX века в США первоначально действовало больше цензов, чем в Англии того времени (за исключением штата Мэриленд). Лишь в 1868 году произошла институционализация единого американского гражданства (XIV поправка к Конституции). Тем не менее индейцы автоматически получили полные гражданские права только в 1924 году. Однако рекордсменом в позднем внедрении гражданских прав в западном мире признается Швейцария, где женщины получили избирательные права лишь в 1971 году.

Вместе с тем Джеффри Александер подчеркивает, что даже включение отдельных групп в круг граждан часто не означало, что они стали полностью равно-

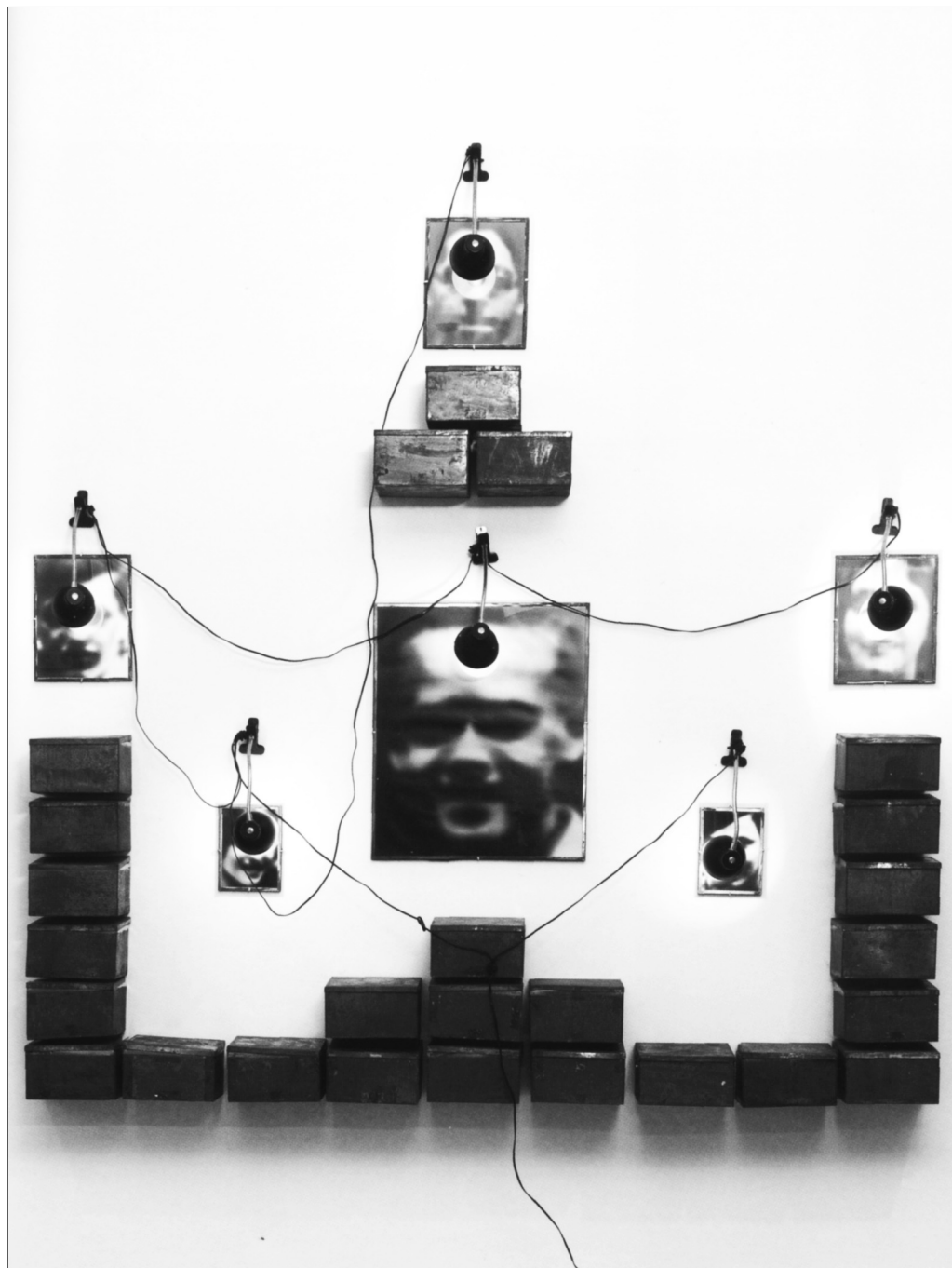
правными. Многие более или менее очевидные исключения касались главным образом тех, кто был причислен к гражданам позднее основной массы, и их размещали ниже во внутренних, зачастую неявных иерархиях гражданственности. Исходя из этого, американская гражданская культура, согласно Александру, по-прежнему ценит католиков меньше, чем протестантов, мексиканцев — меньше, чем евреев, а людей восточноевропейского происхождения — ниже тех, кто родился в странах Северо-Западной Европы.

Можно отметить в этой связи, что символическая иерархия, присущая польской гражданской модели, вытекает отчасти из определенного исторического генезиса актуализации шляхетских мифов как основы воображаемого гражданского сообщества. Поэтому автоматически растет влияние кругов, способных обратиться к своему реальному (или же воображаемому, но признанному обществом) шляхетскому происхождению. Прямую выгоду при таких обстоятельствах получают те, кого можно считать прямыми наследниками аристократических и, в несколько меньшей степени, помещичьих элит. Они поставлены в привилегированное положение как в силу престижа шляхетской символики в господствующем сегодня интеллигентском этосе, так и благодаря исторически более продолжительному гражданскому стажу части их предков.

Польская модель между французской и немецкой

Рассмотрим две классические схемы определения гражданства и понимания национальной идентичности: французскую и немецкую модели, сопоставление которых предложил Роджерс Брубейкер (1992). Это сравнение позволит проблематизировать схему противостояния

между «гражданским» и «этническим» примерами национальной идентичности, которое до сих пор присутствует во многих исследованиях по гражданской проблематике, несмотря на его систематическую критику многими авторами (в частности, Врубакер, 1998). В польском контексте известным критиком этого упрощенного противопоставления является историк Анджей Валицкий, который видел источник такого упрощения в работах Фридриха Мейнеке (Meinecke, 1919). Валицкий доказал, что эта оппозиция неадекватно описывает польский случай. Однако в литературе часто используется интерпретационная схема, в которой Польша вместе с другими государствами Центральной и Восточной Европы помещается в группу стран, якобы сформированных «этническим» определением гражданства (Walicki, 2009). Валицкий отмечал, что, например, модель Ягеллонского государства предполагала сообщество, основанное на политических, а не на культурных ценностях; романтическая идеология польских восстаний XIX века тоже твердо основывалась на сверхэтнических идеологических принципах. Валицкий также разделяет тезис о том, что элементы шляхетского наследия были демократизированы польской гражданской моделью. В этом можно убедиться, читая, например, письма Йоахима Лелевеля, согласно которому суверенитет шляхетской нации естественным образом преобразовался в идею суверенитета польского народа. Валицкий признал польскую шляхетскую традицию такой, которая хорошо адаптируется к модернизации. В качестве примера такой адаптации он упоминал главным образом сарматизм (шляхетская идеология XVI—XIX веков, возводившая шляхту к древним сарматам), который в качестве гражданской идеологии мог быть и был привлекательным также и для мещанства. Массовое распространение



Кристиан Болтански. Алтарь лица Чейза в Вене (в память о погибших в холокосте). 1988

этой идеологии произошло посредством «Трилогии», которую, по Валицкому, написал Сенкевич после возвращения из поездки в США и под впечатлением от американских демократических идеалов. Подобные мнения о преемственности между сарматской традицией и современной польской моделью гражданства, выражающейся, например, в идее движения «Солидарности», поддерживали многие другие авторы, в том числе Тимоти Гартон Эш (1991), а также Якуб Карпинский, который в первой «Солидарности» видел триумф лучших черт демократических шляхетских традиций. (Стоит отметить, что и сарматская традиция, и идея «Солидарности» были идеализированы этими авторами.) С другой стороны, следует также упомянуть работы, в которых традиции шляхетской демократии рассматриваются критически. Среди ряда фундаментальных упреков их авторы называют, в частности, влияние этого наследия на состояние современной польской демократии, которая стремится к анархии. Недавним представителем этого направления был, например, Ян Сова (2011). Яцек Рациборский (2011) также критически оценил функционирование польской системы жалования дворянства, в которой, по сравнению с Западной Европой соответствующего периода, было относительно трудно стать шляхтичем за заслуги или за материальную состоятельность; в то же время занятие торговлей и избрание городского образа жизни грозили потерей дворянства. Исторически главной точкой отсчета для современных проектов гражданского общества, конечно, является французская модель. В то время как немецкая гражданская традиция в сравнении с французской является некой аномалией, дискуссии о немецком «особом пути» (*Sonderweg*) имеют давнюю традицию. Речь здесь идет о распространенном в

западноевропейской историографии восприятии общественного развития Германии как «отстающего», отличающегося от образцов, представляемых, в частности, Англией и Францией (Коска, 1999). В этом смысле немецкая «несовместимость» с французской моделью представляет интерес для польского контекста, во-первых, потому что польская модель может показаться не менее «специфической», чем немецкая, а во-вторых, потому что, как показывает Роджерс Брубейкер (1992), польский фактор, а следовательно, неспособность Германии завершить германизацию польского меньшинства, сыграл важную роль в развитии современной немецкой гражданской модели. Эта «несовместимость» немецкой модели гражданства с западными стандартами также напоминает польский случай. В частности, можно отметить: специфика «современной» немецкой национальной идентичности связана с тем, что она сложилась до полного формирования современной немецкой государственности (и при наличии сильных субнациональных идентичностей). Например, в 1815 году функционировало еще 39 отдельных немецких государств, на протяжении большей части XIX века не было унитарного немецкого гражданства, но существовали отдельные типы государственного гражданства или гражданства земель. В результате национальная идентичность в Германии имеет более сильное этнокультурное измерение, а во Франции является скорее результатом политической стратегии, и страну традиционно отличает высокая степень централизации. Как показывает Брубейкер (1992), в Германии, как и в Польше, ключевую роль в формировании общей национальной идентичности сыграл образованный слой граждан. В то же время во Франции новую идентичность и образец идеального гражданина создавало прежде всего

классическое мещанство (буржуазия), для которого государство являлось инструментом. Важно отметить, что французскому государству удалось воплотить механизм культурной национализации своего населения, в соответствии с римской идеей преобразования государством жителей (главным образом крестьян и иммигрантов) в граждан. Проявлением этого уже в 1795 году стал лозунг, что единственными иностранцами во Франции являются плохие граждане. Вместе с тем в Германии долго доминировало романтическое восприятие проблемы гражданства, оторванное от политической практики. По мнению Валицкого (2009), именно поэтому германский национализм рождался как антипросветительский романтизм, в котором народ представляется как «творение Божье», а значит, бытие культурное или даже иррациональное.

Лишь после поражения Германии в 1806 году* наряду с необходимостью создать сильное государство появилась идея возродить дух прусского народа, хотя одновременно нарастал конфликт между романтическими сторонниками «народного» гражданства и прагматичными адептами «государственной нации». Так проявилась оппозиция, которой не знали во Франции, где эти измерения были объединены. В Германии, где только в 1871 году были сформированы учреждения национального государства, недоставало мифического исторического события по образцу Французской революции, способного объединить граждан. Все эти факторы привели к выделению трех аспектов гражданства: государственного, партисипативного и этнокультурного. По мнению Брубейкера, канцлер Бисмарк строил государство еще без нации, и только император Вильгельм начал

утверждать национальный аспект государства. При этом первые основы могущества прусского государства заложил бранденбургский курфюрст Фридрих II. Он унифицировал бюрократию, ослабил сословные и корпоративные привилегии путем унификации права; его достижением была также «пруссификация» дворянства и его своеобразная национализация благодаря преобразованию части этого сословия в офицерский корпус. Тем не менее до 1913 года немецкая модель гражданства была лишена внутреннего единства. С одной стороны, существовала этническая категория лиц, которые хотя и проживали на протяжении многих поколений за границей, но бесспорно были немцами (*Auslandsdeutsche*). С другой стороны, некоторые немецкие граждане по национальности немцами не являлись (*Reichsdeutsche*). Завершала картину классическая категория этнического немца (*Volksdeutsche*). Любопытно, что Бисмарк скорее не поддерживал чрезмерную опеку над фольксдойче, а живущих в Пруссии поляков считал пруссами. Он не боролся с польскостью как таковой, а причины «польской проблемы» усматривал в национально-освободительной позиции, присущей части польской шляхты и духовенства.

В результате Брубейкер пришел к выводу, что политика по отношению к полякам (*Polenpolitik*) была отягощена внутренним противоречием: она соединяла усилия по ассимиляции с целью «национализировать» и германизировать польское население с диссимилятивными действиями. Последние были ориентированы на обезценивание этнически определившихся «внутренних чужих», в данном случае *Reichspolen* — польских сограждан, которых считали врагами Германской империи, а следовательно — гражданами вто-

* В этом году короной Священной Римской империи германской нации овладел Наполеон и империя была ликвидирована. — Прим. ред.

рого сорта. Культуркампф (борьба за культуру. — *Ред.*) нес в себе упомянутые противоречия и совмещал идеи борьбы с многими врагами: как внутренними, так и внешними. Он был направлен против французских влияний, деятельности католической Немецкой партии центра, социал-демократов и поляков. Сами социал-демократы поддерживали более сильные ассимиляционные механизмы для уроженцев Германии. В рамках этой политики в 1872 году немецкий язык был введен в качестве единственного для школы (за исключением уроков религии), а в 1876-м он стал единственным публичным языком. Параллельно были приняты положения, позволяющие удалять из страны национально чуждых жителей: в 1885 году было выселено некоторое количество поляков и евреев. Впрочем, эта практика не стала широкомасштабной и касалась преимущественно мигрантов из российской части Польши. Был также принят закон, дающий возможность лишать имущества людей, высланных из страны, но его не приводили в исполнение ввиду критики этих замыслов частью прусских элит. Упомянутые меры разрабатывали и пытались применять прежде всего вследствие поражения немецкой ассимилятивной политики по отношению к полякам. Как утверждает Брубейкер, именно «польский вопрос», с которым немецкое государство не «справлялось», подтолкнул к этническому определению гражданства, то есть к действующему в принципе и сегодня «праву крови». Французская модель «права земли» осталась для Германии недостижимым идеалом. В то же время прагматические предпосылки, следующие прежде всего из неспособности германизировать поляков, привели к тому, что немецкое гражданство определили на основе «права крови», что позволяло применить депортацию по отношению к тому или другому меньшинству. К слову, сила поляков в Великой

Польше подкреплялась не только их национальной идентичностью, но и тем, что из этого региона на запад уезжало больше немцев, чем поляков. Важна была также нехватка рабочих рук в Германии, которая, вопреки политическим условностям, вынуждала разрешать сезонный приезд рабочих из-за восточной границы, то есть главным образом поляков. Другое обстоятельство было связано с немецкой системой социального обеспечения, которая способствовала отъезду из страны лиц, лишенных гражданства, хотя зависела от согласия третьих государств на прием таких лиц.

Все изложенное, однако, не означает, что подобных поражений в ассимиляционной политике не терпели французы. Подобно тому как проблемой немецкого «поражения» были поляки, во Франции проблемой оказалась ассимиляционная политика в отношении бретонцев, басков, корсиканцев и эльзасцев. Впрочем, ее масштаб был меньше, поэтому общая вера в силу французской культуры и привлекательность французского гражданства не пошатнулась. Брубейкер, однако, отмечает, что поражение 1871 года в войне с Пруссией заметно ослабило французский универсализм. В то время принадлежность к французской нации стала приобретать черты расы, что являлось прежде всего обратным эффектом дискурса, присваивающего расовые характеристики прусскому врагу. Последний в условиях военной моральной паники приобрел чуть не биологические признаки «варвара». Это, однако, не изменило принципа, провозглашающего, что французом можно стать, а не только родиться, а также уверенности в ассимиляционной способности французского государства. Таким образом, можно говорить о существенном различии между ассимиляционным потенциалом французской «цивилизаторской миссии» и германским этнокультурализмом как

следствием прежде всего конфликта с поляками.

Модель гражданства Австро-Венгрии, подобно немецкой модели, можно интерпретировать также через призму парадоксальной и непоследовательной политики государства в отношении польского культурного меньшинства, которое сопротивлялось германизации. Например, социолог Михал Лучевский (2012) показал, что первоначально император Иосиф II пытался преобразовать империю, ориентируясь на французскую модель единого, современного национального государства. Он ввел обязательное, всеобщее и бесплатное образование (прежде всего — обучение грамоте на немецком языке) и создал систему, поощрявшую переезд в Галицию немецкоязычного населения. Такие регионы, как Галиция, стали важными поставщиками новобранцев в императорскую армию — главный по замыслу инструмент ассимиляции в немецкую культуру. В то же время ослабилась крепостная зависимость, был укреплен административный аппарат, а шляхта потеряла самоуправление. Вена жаловала звания графа и барона лояльным представителям местных элит (впрочем, в создаваемых таким образом высших слоях почти не было поляков, они чаще всего появлялись на нижних уровнях администрации). Этот амбициозный проект унитарного немецкоязычного государства был, однако, пересмотрен уже в 1812 году. Тогда государство ослабело, поэтому власть более остро почувствовала потребность в поддержке местного дворянства, а в Галиции — польской шляхты. В результате польская шляхта постепенно стала приобретать контроль над культурной системой провинции. Таким образом, польская идентичность ассоциировалась с высокой культурой, в рамках которой происходило

социальное продвижение. Реформы, последовавшие после 1848 г., ввели районирование империи, которое напрямую следовало из поражения в конфликте между Австрией и Францией и Пьемонтом. Шляхетство играло значительную роль в масштабе страны, пока существовала монархия, то есть до 1918 года, — ведь чиновников для высшего административного аппарата набирали преимущественно из аристократической среды, для среднего уровня — из аграрной шляхты, а для низшего — главным образом из образованных мещан.

Интересно, что армия, которая должна была стать инструментом ассимиляции, все больше укрепляла идентичности меньшинств. Как пишет Лучевский, крестьяне с обследованной им территории Островных Бескид* впервые узнавали о своей принадлежности к полякам именно в австро-венгерской армии. Появилась также система политического представительства, эволюционировавшая не только во все более демократическом направлении, но и в национальном. В Галиции она усилила роль традиционных польских элит, особенно консервативных. Их представители со временем вошли в состав политической элиты империи. Так создавалась специфическая система гражданства мультикультурной монархии, которую даже сегодня иногда вспоминают с большой ностальгией как ранний идеал мультикультурализма, пример модели политического гражданства, которое не сводится к этническим идентичностям.

Впрочем, говоря об этой модели, не нужно забывать, что она была прежде всего следствием австрийской слабости, вызвавшей против воли правителей государства многомерное культурное и политическое многообразие. Отметим также,

* Традиционное название для ряда горных хребтов в Карпатах от Чехии вдоль границы Польши со Словакией до Украины. — Прим. ред.



Иван Разумов. Без названия. 2012

что частью австрийской политики, особенно во время усиливающихся политических кризисов, была стратегия «разделяй и властвуй». Эта стратегия охватывала как классовые (например, известные мятежи), так и национальные (например, польско-украинские конфликты) антагонизмы. Национальные противостояния в конечном счете привели к распаду империи во время Первой мировой войны. Давление все более популярной модели национального государства оказалось сильнее имперской сущности.

На волне освобождения национального государства была создана, в частности, Вторая Речь Посполитая. В ней соперничали две модели гражданства, формируемые левыми и национально-демократическими интеллигентскими группами. Первая, основываясь на концепции многонациональной Речи Посполитой (и даже по-разному рассматриваемом проекте коалиции стран междуморья), предусматривала политическую модель гражданства. Историческим символам единства в ней придавалась большая роль, чем польской культуре (понимаемой этнически) и католической религии. А в национально-демократической модели

соединились классические идеалы современного национального государства с сильной ролью католицизма. Со временем, в межвоенный период, модель национальной демократии получила явное превосходство. Это стало возможно благодаря росту международной популярности классического национализма, а также центробежного давления национальных меньшинств, следующего из многих факторов, в частности растущей силы дискурсов и этнонационалистических политик во всей Европе. При этом большинство лидеров национальных меньшинств все больше отвергали проект польскоцентричного гражданского сообщества Второй Речи Посполитой и тем самым еще больше укрепляли модель национальной демократии. Например, Валицкий считает, что национально-демократический национализм был скорее реакцией на «пробуждение» национальных меньшинств, чем наоборот (Walicki, 2009).

В то же время достаточно тех, кто причины принятия в меру политического определения гражданства во Второй Речи Посполитой видит в контексте геополитической ситуации в Европе. К примеру,

социолог Яцек Рациборский придает большое значение Версальскому договору, который покончил с правом крови при определении гражданства и требовал признать гражданами всех жителей территории государства (Raciborski, 2011). Однако Версальский мир заключал в себе определенную двойственность, так как продвигал идею национального государства, тем самым усиливая и легитимируя национализм. Между тем польское определение гражданства нелегко отнести к «политической» или «этнической» модели, польское право не дает оснований квалифицировать его как проявление классической модели «права крови» или же «права земли», хотя, кажется, преобладает первое определение (Gómy, Grzymała-Kazłowska, Korys, 2005).

Не развивая здесь этой сложной темы, следует отметить, что практически во всех вариантах — более этнических (например, национально-демократическом) или более политических (например, в варианте Пилсудского) — польская модель гражданства основывается на воплощенной гегемонии образца постшляхетского интеллигента как идеального гражданина. Стало быть, такой интеллигент, с одной стороны, может приобретать выраженные этнические характеристики — представляться «настоящим поляком», которого на протяжении поколений воспитывали как католика, или приобретать расовые черты — изображаться как прямой биологический потомок древней шляхетской элиты. Его, однако, также могут интернационализировать или же космополитизировать. В таких истолкованиях он выглядит скорее как символический, и следовательно, только политический или моральный, преемник идеалов шляхетской демократии, заложенных в Речи Посполитой двух народов. Наследие же Первой Речи Посполитой представляет-

ся в таких интерпретациях как национальное, надрелигиозное и обращенное непосредственно к идеалам античной демократии в значении основы современных западных демократий. Таким образом, чтобы стать частью общества, определяемого такими ценностями, не требуется национальная ассимиляция. Однако для этого включения так или иначе следует признать обобщенный образец интеллигентской пост-шляхетской гражданственности центральным элементом социального порядка.

Завершая рассмотрение темы, следует отметить, что важную роль в формировании современной гражданской модели сыграл революционный момент. Анализируя Французскую революцию, Роджерс Брубейкер назвал три ее измерения, о которых нужно помнить, чтобы разобраться в дискуссии о современном гражданстве. Во-первых, мещанский аспект, касающийся борьбы за равноправие и права на собственность. Во-вторых, демократический, направленный против автономии городов и городского гражданства (переход от привилегий к всеобщему праву, от города ко всей стране). И наконец, национальный, который, несмотря на первоначально космополитическую ориентацию, противопоставит космополитизму европейского высшего класса и де-факто создает современное понятие иностранца. Для нас важно то, что господствующим идеалом гражданина в Европе стал мещанин (буржуа) как «центральная» категория, к которой, с точки зрения Брубейкера, в рамках поступательного упразднения привилегий тяготели как дворяне, так и крестьяне. Новый мещанин определялся через принадлежность к государству и жизнь для государства, а не через связь с городом, как в былые времена. И здесь опять бросается в глаза четкое отличие от Германии, где гражданство не было опре-

делено в оппозиции к привилегированному слою и монархии.

В этом контексте «польская интеллигентская революция» имела как некоторые «мещанские», так и антимещанские (или социалистические, критические по отношению к буржуазии) аспекты. У нее, несомненно, был «демократический» аспект, но ее острие направлялось не против «городского гражданства» (как во Франции), а против «помещичьего гражданства» как главного конкурента «интеллигентского гражданства». Очевидно, что польская интеллигентская революция была также национальной революцией. При этом в ней сочетались очевидный национально-освободительный характер и заметная антиаристократическая составляющая, которую сегодня сильно недооценивают. «Значимым чужим» интеллигентской революции были элиты периода аннексии, получившие привилегии из политико-культурного пространства империй своего времени. Это касалось не только аристократии, но и большей части богатой буржуазии. Во Второй Речи Посполитой такие «космополиты» были сброшены с пьедестала, уступили статус гегемона «национальной» интеллигенции: то ли национально-демократического, то ли левого толка (Zarycki 2013).

Перевод с польского языка
Анны Баженовой

БИБЛИОГРАФИЯ

- Alexander J.C. (2006) *The civil sphere*, Oxford: Oxford University Press.
- Brubaker R. (1992) *Citizenship and nationhood in France and Germany*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Bukowska X. (2010) Historyczne modele obywatelstwa. O źródłach teoretycznego pomieszczenia wokół kwestii obywatelstwa z perspektywy tradycji zachodniej cywilizacji. *Zoon Politikon* 1: 8–38.
- Author.(eds) (1985) *Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert*, Stuttgart: Klett-Cotta.
- Flam H. (1999) *Dissenting Intellectuals and Plain Dissenters: The Cases of Poland and East Germany*. In: Bozóki A (ed) *Intellectuals and Politics in Central Europe*. Budapest: Central European University Press, 19–42.
- Garton Ash T. (1991) *The Polish revolution: Solidarity*, London, New York: Granta Books.
- Górny A, Grzymala-Kazłowska A, Koryś P, et al. (2005) Selective tolerance? Regulations, Practice and Discussions Regarding Dual Nationality in Poland. In: Faist T (ed) *Dual Citizenship in Europe: From Nationhood to Societal Integration*. Hampshire: Ashgate, 147–169.
- Heater D.B. (1999) *What is citizenship?*, Cambridge: Polity Press.
- Isin E. F. (1997) Who is the new citizen? Towards a genealogy. *Citizenship Studies* 1: 115–132.
- Kocka J. (1999) Asymmetrical Historical Comparison: The Case of the German Sonderweg. *History and Theory* 38: 40–50.
- Łuczewski M. (2012) *Odwieczny naród: Polak i katolik w Zmiącej*. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- Marshall T. H. (1964) *Class, citizenship, and social development; essays*, Garden City: Doubleday.
- Meinecke F. (1919) *Weltbürgertum und nationalstaat; studien zur genesis des deutschen nationalstaates*, München, Berlin.: R. Oldenbourg.
- Raciborski J. (2011) *Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Sowa J. (2011) *Fantomowe ciało króla: Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą*, Kraków: Universitas.
- Sowa K. Z. (2012) *Szkice o sferze publicznej i polskim społeczeństwie obywatelskim*, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Walicki A. (2009) *Naród, nacjonalizm, patriotyzm*, Kraków: Universitas.
- Weber M. (1992) *The Protestant ethic and the spirit of capitalism*, London: Routledge.
- Zarycki T. (2009) The Power of the Intelligentsia. The Rywin Affair and the Challenge of Applying the Concept of Cultural Capital to Analzye Poland's elites. *Theory and Society* 38: 613–648.
- Zarycki T. (2013) Aleksander Lednicki i los jego środowiska Polonii w Rosji na przełomie XIX i XX wieku jako zwierciadło przemian polskiego pola władzy. *Sprawy Narodowościowe* 42/2013: 67–83.



Юрий Сенокосов,
главный редактор
журнала «Общая тетрадь»

О гражданине и гражданском просвещении

Вопрос: *Интеллектуалу разве место на митингах?*

Умберто Эко: *Нет, это было не место интеллектуала. Это было место гражданина. Певец, футболист или романист известнее, чем остальные граждане. И он может и должен использовать свой статус для достижения общественно важных целей. Так что я там был не в роли интеллектуала. Я использовал свою известность в качестве интеллектуала, чтобы говорить как гражданин.*

Почему так важно гражданское просвещение в условиях глобализации? Что такое гражданин?

Население на планете Земля, как известно, стремительно растет: 1900 год — 1,6 млрд человек, сегодня — более 7 млрд. И соответственно растет воздействие человека на природную среду. Об этом свидетельствуют глобальные проблемы: изменение климата; истощение природных ресурсов; техногенные катастрофы; разрыв в уровне социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами и его последствия для развитых стран — растущие потоки беженцев, политический популизм, агрессия, угроза третьей мировой войны. Сложность и глубина проблем, вызванных глобализацией, очевидна, учитывая, что для их решения требуется сотрудничество государств не только на региональном, но и на мировом уровне. И безусловно, нужна вера в принципы верховенства права, демократического управления, открытого рынка.

Об этих принципах, считаем мы в Школе, не стоит забывать хотя бы потому, что их родина — Европа, которая и наша общая родина, где были сформулированы в XVIII веке идеи, положившие начало процессу глобализации. Я имею в виду Адама Смита и его знаменитую фразу из «Богатства народов» о «невидимой руке рынка», а также Иммануила Канта, заявившего в своем трактате «Что такое просвещение?»: «публика сама себя просветит, если только предоставит ей свободу».

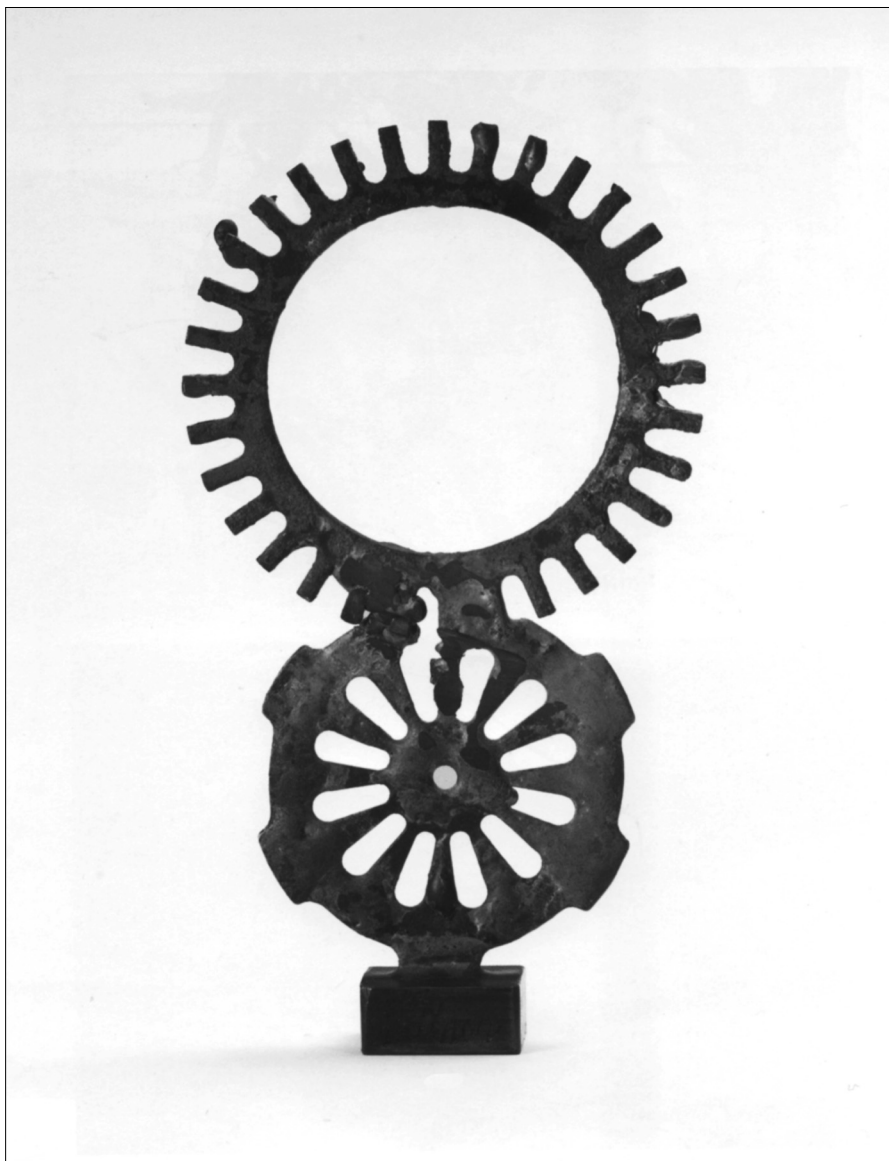
Сегодня можно уверенно сказать, что эти идеи, подобно маяку, освещали путь экономического, политического и гражданского развития европейского общества, преодолевавшего свое духовное несовершенство, причиной которого, по словам Канта, был не недостаток ума, а недостаток решимости и мужества самостоятельно пользоваться им. Чтобы понять не то, что делает из человека природа, а как человек делает себя сам — *self-made man*. Таким образом, цель просвещения не в распространении только знания, а в развитии человеческого разума.

Почему же тогда этот просвещенный разум оказался столь недальновидным и современный мир превратился в заложника угрожающих глобальных проблем?

Девиз Просвещения *Sapere aude!* — *имей мужество пользоваться собственным умом* — на мой взгляд, явно заключает в себе парадокс, на котором стоит остановиться и задуматься. Потому что, если задуматься, то окажется, что когда мы думаем, мы думаем не собственным умом, ибо это некая невидимая собственность, которой мы тем не менее обладаем и пользуемся. И значит, как выражался Мераб Мамардашвили, будучи наследником духа Просвещения, эта «собственность» (ум) дана человеку в дар, и он есть у всех. Но не все это понимают, «зарывая талант в землю». А если человек не зарывает его, о нем можно сказать, что он обладает безусловным талантом личности, которая поэтому и выделяется в качестве особого феномена в этике и культуре, поскольку человек ищет некую ценность за пределами очевидного. Справедливость, истину, честь, благо, свободу, которые не передаются непосредственно от одного человека к другому, а требуют понимания — личного сознательного усилия и мужества пользоваться собственным умом. И когда это происходит, рождаются парадоксы, афоризмы, метафоры, фразы, подобные приведенным выше.

Ведь что означает фраза «невидимая рука рынка»? На первый взгляд, казалось бы, понятно. Она указывает на некий процесс, таящий в себе загадку и одновременно ответ, а именно: когда люди преследуют свои *частные интересы*, их активность детерминируется некой силой, работающей на пользу и благо общества.

То есть загадка остается, если мы вспомним, что существуют и другие, не только частные, но и *коллективные* способы достижения общественного блага — с помощью реформ, революций, перестроек. И встает вопрос: какой путь в таком случае эффективнее, индивидуальный или коллективный? Демократический или авторитарный? Ясно, что по-своему они успешны, казалось бы, оба, но основой эффективности первого являются, как известно, научные открытия, технические изобретения и рыночная экономика, а второго — государственная власть и заимствование технологий. И эта особенность второго пути, безусловно, — сдерживающий фактор для демократического развития, в силу разных причин. Назову лишь одну из них — главную — отказ от свободы, в результате которого происходит подмена свободы так называемым выбором. Что я имею в виду? Разумеется, демократия предполагает пространство свободы, и его никто не имеет права ни национализировать, ни приватизировать целиком. Ни монарх, ни народ, ни партия, ни бизнес, ни президент. В условиях демокра-



Дэвид Смит. Без названия. 1961

тии есть место всем. А раз так, то должен, конечно же, существовать и выбор, ведь мы часто уверены, что человек свободен только тогда, когда у него есть выбор. Отсюда напрашивающийся вывод: чем больше возможностей выбора, тем больше в стране свободы. Но так ли это на самом деле, если не забывать о непредсказуемости того, что человек может выбрать и посвятить этому свою жизнь (например, террорист)? Не говоря уже о «радикальном выборе» народа, или спецслужб, ведущего к государственному терроризму.

Следовательно, эмпирическое определение свободы содержит в себе явное противоречие. Поэтому обратимся к другому, мамардашвилиевско-

му ее определению, предполагающему не возможность выбора, а дисциплину ума: «Свобода — это феномен, который имеет место там, где нет никакого выбора. А есть нечто, что в себе самом содержит необходимость, то есть является необходимостью самой себя».

Фактически именно к такому определению свободы, открывающему путь к компромиссам и сотрудничеству, все более склонялись европейские мыслители в эпоху Просвещения, размышляя о гражданском обществе и правах человека. Причем все это было реакцией на существовавшую абсолютистскую форму правления, при которой верховная власть принадлежала одному лицу, распоряжавшемуся свободой других. А завершилось, как известно, принятием в августе 1789 года знаменитой Декларации прав человека и гражданина — политического манифеста Французской революции, провозгласившего неотъемлемыми правами человека свободу личности, слова, совести, равенство граждан перед законом, неприкосновенность частной собственности.

Эта Декларация подвела своего рода итог предшествующему развитию европейского общества, когда шла борьба за ограничение абсолютной власти. Об этом свидетельствуют, в частности, английский Билль о правах 1689 года, декларирующий «права и свободы подданного», и другие документы — правового и политического характера (жалованные грамоты, уставы городов и др.).

В основе же философии свободы, воодушевлявшей европейских просветителей XVIII века, лежала идея прав человека уже не как «подданного», а как личности гражданина.

О правах, писали они, можно и нужно говорить, поскольку люди мыслятся во взаимном отношении друг к другу. Право — ничто вне таких отношений. Они задавали вопрос: как могут сосуществовать свободные люди — ведь в этом состоит смысл всякого права? И отвечали: совместное существование людей возможно при условии, если каждый во имя достижения компромисса ограничивает свою свободу настолько, чтобы сохранить свободу другого. Свобода одного упирается в свободу другого и имеет эту последнюю условием собственной свободы. Свободу не выбирают, так как сам вопрос «есть ли свобода?» уже свидетельствует о ее существовании.

Таким образом, свобода и право — два основных понятия, с которыми связаны история европейского либерализма и появление гражданского общества.

Имеет это отношение к «невидимой руке рынка» и к «публике, которая сама себя просветит, если предоставит ей свободу»? Безусловно, имеет, причем самое непосредственное.

Приведу вначале пример, относящийся к рынку.

В те же самые годы, когда Адам Смит писал свое «Исследование о природе и причинах богатства народов», в Англии Джеймс Уатт совершенствовал паровой двигатель, сыгравший революционную роль в переходе к машинному производству и промышленной революции. Естественно, благодаря рынку, а точнее, сочетанию частной инициативы и промышленного просвещения. Но об этом несколько позже, а пока замечу, что на десять лет

раньше Уатта Иван Ползунов в России тоже разработал проект парового двигателя, а затем построил паросиловую установку для заводских нужд, но за неделю до ее пробного пуска умер. Однако в это же время в России жил еще один замечательный механик и изобретатель Иван Кулибин, который хотя и считал возможным использование паровых машин на речных судах, но их конструированием непосредственно не занимался, предпочитая занятие так называемыми водоходными машинами с деревянными колесами. И при этом был готов бесплатно раздавать соответствующие чертежи и консультировать «желающих пользоваться его изобретением». Но желающих почему-то не было, в отличие от Англии, где во время многолетней работы над совершенствованием паровой машины у Джеймса Уатта сменилось три спонсора-партнера. И к 1780 году они вместе с третьим партнером М. Болтоном (создав совместную компанию) выпустили 40 паровых машин. Причем все было организовано без участия английской государственной казны, а благодаря частной инициативе — изобретателя и его партнера, а также покупателей-предпринимателей.

Именно отсутствие этих трех факторов в России, по словам современного историка, «привело к тому, что проекты Кулибина... остались на бумаге». А ответ на вопрос, почему они отсутствовали, дал еще в конце XIX века Павел Милюков в своих «Очерках по истории русской культуры», где он писал: «Наша мануфактура и фабрика не развилась органически, из домашнего производства, под влиянием роста внутренних потребностей населения: она создана была поздно правительством, руководившимся... соображениями о необходимости развития национальной промышленности. ...В стране без капиталов, без рабочих, без предпринимателей и без покупателей эта форма могла держаться только искусственными средствами». А точнее, государственными, которым не предшествовала «невидимая рука рынка» (без участия государства).

Переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике, который начался в Европе в последней трети XVIII века и получил название промышленной революции, разумеется, был бы невозможен без научной революции XVII века и без промышленного просвещения, столь же важного для успеха промышленной революции, как и принцип свободы экономического развития (*laissez-faire*). А промышленное просвещение, в свою очередь, не было бы успешным без социальной инфраструктуры, связанной с образованием, подготовкой кадров и инвестициями, обеспечивающими в условиях рыночной экономики реализацию технических инноваций. С этой точки зрения развитие незаимствованных, отечественных технических инноваций в России по сравнению с Англией началось намного позже и было прервано Первой мировой войной, которая привела, как известно, к катастрофе в стране.

И в этой связи второй пример, относящийся уже к фразе Канта о «публике, которая сама себя просветит». Он напрашивается сам собой, поскольку известно, что целью социалистической революции в России было освобождение рабочих и крестьян от эксплуатации, а сопровождался этот процесс пропагандой насилия и массовым террором. То есть с использованием отечественных традиционных средств, а не только промышленных технологий

и инноваций. Но цель была достигнута: социализм в стране был построен, и все стали «гражданами». Как об этом мечтал в 1855 году поэт и предприниматель Николай Некрасов:

Но где ж они? Кто не сенатор,
 Не сочинитель, не герой,
 Не предводитель, не плантатор,
 Кто гражданин страны родной?

 Поэтом можешь ты не быть,
 Но гражданином быть обязан.

А в 1929 году другой наш поэт провозгласил: «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза» (Владимир Маяковский).

Возрождение, реформация, просвещение, революция — все эти понятия, как мы помним еще со школы, отражают процессы перехода человеческого общества от одной исторической эпохи к другой. Но редко задумываемся, что в это время люди заняты поиском общественного эквивалента своему неясному и неустойчивому состоянию души. В первой половине XX века после распада Австро-Венгерской империи Роберт Музиль написал об этом известный роман «Человек без свойств». А во второй половине столетия на эту же тему появились «Воспоминания» жены О. Манделштама Надежды Манделштам, где говорится, что в 1930-е годы в СССР «для огромного числа неопитов никаких ценностей, истин и законов больше не существовало, кроме тех, которые нужны были сейчас и назывались для удобства классовыми... Из обихода исчезло множество слов — честь, совесть и тому подобное. Развенчать эти понятия было не так уж трудно, когда открыт рецепт развенчивания». Но это отдельная тема.

Напомню лишь: в России после царствования Петра I переход общества в пространство Европы занял два столетия и завершился в результате захвата власти большевиками эпохой тоталитарного рабства. И вернусь к уже поставленному вопросу: какое отношение в таком случае помимо рынка имеют понятия свободы и права к становлению гражданского общества? Для европейца ответ на этот вопрос, думаю, очевиден: успешное развитие рыночной экономики и появление гражданского общества были бы невозможны без того, что принято называть разделением властей.

Прежде чем этот термин появился во втором трактате Джона Локка «О правлении» ему предшествовала Великая хартия вольностей (1215 год), с помощью которой английские бароны заставили своего короля признать, что хотя *он первый, но среди равных ему*. То есть разделение властей было для Локка не целью, а уже свершившимся фактом. Он лишь зафиксировал в конце XVII века существовавшую в стране практику применения главных элементов правового государства и демократии. А после появления в середине XVIII века «Духа законов» Монтескье не только термин, но и сам принцип разделения властей получил признание во многих государствах.



Магдалена Абаканович. Второй вариант первой фигуры с распростертыми руками. 2003

То же самое относится к понятию просвещения. Кантовский трактат также подвел своего рода итог интеллектуальному движению в Европе XVII–XVIII столетий, участники которого стремились понять, как должна быть организована и выстроена власть, чтобы гарантировать сохранение свободы.

«Большая степень гражданской свободы, — писал философ, — имеет преимущество перед свободой духа народа, однако ставит этой последней непреодолимые преграды. Наоборот, меньшая степень гражданских свобод дает народному духу возможности развернуть все свои способности. И так как природа открыла под этой твердой оболочкой *зародыш*... а именно склонность и призвание к *свободе мысли*, то этот зародыш сам воздействует на образ чувствования народа (благодаря чему народ становится

постепенно более способным к *свободе действий*) и, наконец, даже на принципы правительства, считающего для самого себя полезным обращаться с человеком, который есть *нечто большее, чем машина*, сообразно его достоинству».

Этот завершающий абзац кантовского трактата наряду с трактатом Локка «О правлении» и фразой Смита о «невидимой руке» рынка не оставляет сомнения в том, что, вступив во второй половине XVIII века на путь промышленного и социального развития, Европа начинала двигаться к раскрепощению общественных сил и талантов. Создавая различного рода ассоциации, партии и реформируя политические институты, просвещенные европейцы стремились таким образом по-новому организовать пространство общественной жизни.

Однако практически одновременно с этим (по мере растущего в результате промышленной революции обнищания сельского и городского населения) в европейской культуре стало набирать силу и развиваться противоположное мировоззрению просветителей марксистское учение о классовой борьбе и диктатуре пролетариата.

Все это я говорю к тому, чтобы показать, возвращаясь к последствиям глобализации, насколько далеко в свое время разошлись Россия и Запад в понимании не только демократии, но и непосредственно связанной с ней предшествующей интеллектуальной традиции, а именно — веры в разум, с одной оговоркой. И Локк, и Смит, и Кант, и другие просветители верили в свободу и разум, но разум, в частности, Локка отличался при этом от разума Канта. Локковский разум исходит из опыта и не содержит в себе ничего, кроме опыта, а кантовский разум — из критики опыта. И это важное отличие, если мы вспомним выражение Канта «Физика не опытная наука, а наука для опыта». Ибо можно было сколько угодно, подобно алхимикам, заниматься научными экспериментами, которые не приближали к пониманию того, что такое наука на самом деле, пока Ньютоном не были открыты законы, ставшие образцом точного математического анализа для проверки любого физического эксперимента. То же самое можно сказать о Локке, для которого естественное состояние общества уже не было «войной всех против всех», так как он полагал, что оно регулируется нормами права, которые, определяя поведение человека, диктуются разумом. Но Локк в своей защите права апеллировал к частному интересу, тогда как Кант не верил в «алхимическое» право только частного интереса, вне «культуры моральности в нас», и говорил о моральном (категорическом) императиве как цели разумно оправданного поступка. То есть мораль в этом случае выступает своего рода математикой для измерения отношений между людьми. И поэтому можно сказать, что лишь моральный, нравственный закон, не зависящий от посторонних причин, делает человека по-настоящему свободным.

На фоне сегодняшней действительности уверенность Канта, что народ просветит себя сам, если предоставить ему свободу, кажется наивной, как и вера Адама Смита в «невидимую руку» рынка. Однако не стоит забывать, что убеждения этих мыслителей были основаны не на слепой вере в свободу, а на вполне осмысленных постулатах об особенностях природы человека, которые предопределяют не только его экономическое поведение, но и сферу

жизнедеятельности в целом. А именно — на присущей человеку склонности к обмену услугами и плодами своего труда и его стремлении не только к обогащению, но и справедливости. Послушаем самого Смита.

«Таким образом, переворот величайшей важности для *общественного блага* был совершен двумя различными классами людей, которые не имели ни малейшего намерения служить обществу. Удовлетворение самого простодушного тщеславия — таков был единственный мотив крупных землевладельцев. Торговцы же и ремесленники... действовали исключительно в своих собственных интересах и придерживались присущего им торгашеского правила зашибать копейку при всяком удобном случае. Ни те и ни другие не осознавали и не предвидели той великой революции, которую совершало безумие одних и сноровистость других».

Между тем, продолжает автор «Богатства народов», поскольку такой порядок развития противоречил разумному ходу вещей, он неизбежно отличался неустойчивостью. Почему противоречил? Потому что у человека есть возможность свободно преследовать свои интересы (и в какой-то момент он это осознает) лишь в том случае, если он не нарушает законов справедливости — одной из главных человеческих добродетелей. И тогда его деятельность совпадает с действием сил «невидимой руки».

А что такое добродетель? Согласно Платону, как утверждает Сократ в «Горгии», — это особенный строй души, который позволяет сохранять достоинство в отношении себя и других. А согласно Канту — моральная твердость в следовании своему долгу.

Так кто же такой гражданин? И о каких общественно важных целях, выражаясь словами Умберто Эко, может идти речь в условиях глобализации? Должен ли гражданин обладать в этих условиях еще и добродетелями помимо профессиональных качеств, способностей, талантов — научных, художественных, организационных? Я имею в виду людей самых разных профессий. Тем более что среди них всегда есть люди широко известные и влиятельные в обществе. А есть малоизвестные, непубличные, но влиятельные в своей профессиональной среде.

Посмотрим на такую, например, добродетель, как ответственность, поскольку, употребляя такие выражения, как гражданская ответственность и ответственность профессионала (ученого, писателя, художника и т.д.), мы обычно не видим между ними разницы. А между тем она есть. Потому что гражданская ответственность как добродетель в отличие от профессиональных способностей и талантов — выдающихся, средних, скромных — неделима. И, следовательно, подразумевает не только профессиональный талант и интерес, но и вовлеченность человека в то, что происходит в окружающей жизни, безразличие к ней. А также чувство собственного достоинства, интеллектуальную честность, упрямство в отстаивании того, во что он верит и ценит, совесть. Именно граждане с такими качествами придерживаются позиции моральной твердости, выражаемой словами «На том стою и не могу иначе», «Не могу молчать», «Жить не по лжи». Просто потому, что по-другому не могут, используя свой профессиональный статус и место гражданина для достижения в том числе и такой общественно важной цели, как свобода.

11 ноября 2016 г. к 25-летию российских реформ Фонд Егора Гайдара презентовал воспоминания одного из участников событий тех лет, известного экономиста, эксперта Школы Сергея Васильева «Две жизни одного поколения. Записки экономиста эпохи трансформации». Ниже публикуются выступления большинства участников презентации.

Москва–Петербург. 25 лет реформ

Ведущий Андрей Колесников:

— Нашу встречу, посвященную книге Сергея Васильева, стоит, я думаю, начать с 1979 года, когда три аспиранта — Анатолий Чубайс, Григорий Глазков и Юрий Ярмагаев — собрались на уборке картошки и стали обсуждать постановление Совмина и ЦК «О совершенствовании хозяйственного механизма». Обсуждали возможную эффективность этого постановления. Пришли к выводу, что оно неэффективно и задумались о том, что нужно сделать, чтобы советская экономика начала работать. Так родилась неизвестная группа молодых экономистов: Чубайс, Ярмагаев и Глазков. Потом полтора года эти люди наблюдали за участием в семинарах Сергея Васильева и взяли его в свою компанию. Если помните, у Пастернака было: «Нас мало, нас, может быть, трое...» А потом Вознесенский написал: «Нас много, нас, может быть, четверо...» Четыре человека, первый кружок.

В Москве тоже кое-что зарождалось, и тоже примерно в это же время. Году в 1980-м появилась лаборатория, в которой трудились Егор Гайдар, Петр Авен, Вячеслав Широнин, Олег Ананьин. Это были небольшие кружки людей, которые начали рассуждать о том, что можно было бы сделать с экономикой страны, которая начала к тому моменту крениться набок.

Я приглашаю на сцену две команды — питерскую и московскую. Добавлю, Ярмагаев, один из членов питерской команды, ввел в нее Сергея Игнатьева, который учился в Москве, но тем не менее может считаться ленинградцем. Потом он стал председателем Центрального банка Российской Федерации.

Итак, что было стартом интеллектуальной истории реформ?

Может быть, Анатолий Борисович, начнем с вас.

Анатолий Чубайс:

— Андрей описал нас в качестве неких первоапостолов, что, конечно, некоторое преувеличение. И сразу же скажу, у москвичей все-таки было старшее поколение. Был Станислав Шаталин, что важно. А мы в этом смысле безотцовщина. Мы были в гораздо более герметичной атмосфере. Во всех смыслах: и идеологически Питер был тяжелый город, и с точки зрения доступа к информации на порядок хуже. Мы родились как бы из ничего и варились в собственном соку.

В этом смысле, если говорить о четверке, которая правильно была названа, то, наверное, у каждого из четверых была своя роль. Я был руководи-

телем. Григорий Глазков — это такой абсолютный критик любой концепции, независимо от содержания, характера и так далее. Ярмагаев Юра — это гений, непрерывно созидающий невероятной сложности какие-то мысленные концепции и конструкции. Сергей Васильев был классическим аналитиком-энциклопедистом. Это единственный человек из нас четверых, кто знал экономику по-настоящему. Единственный человек, который прочел к этому времени все, что можно было прочесть по-русски, по-английски, по-испански и по-сербохорватски. Единственный человек, который широко и профессионально опирался на настоящие системные знания.

Я до сих пор помню, как докладывал у нас Сергей. А мы всерьез, в регулярном режиме определяли тематику следующего доклада, назначали ответственного за его подготовку. Ответственный штудировал литературу. Я помню, у нас списки литературы были в докладах по 30, 40, 50 наименований на разных языках. Соответственно мы считали необходимым изучить весь советский опыт реформирования, начиная с НЭПа, и весь опыт реформирования в соцлагере от Китая до Югославии.

А дальше так сложилось, что 10 лет мы посвятили тому, что отвечали на один вопрос: как реформировать советскую экономику? К 1991 году выяснилось, как это ни парадоксально, что не было второй команды в стране, которая пыталась бы ответить на простейший вопрос. Со всей мощью экономической советской науки, включая отраслевые научно-экономические институты с сотнями докторов, тысячьо кандидатов. Это предопределило и нашу силу, и нашу слабость. Слабость в том смысле, что у нас не было альтернативной профессиональной группы, предметно понимающей содержание преобразований, с которой можно было бы спорить.

В 1991 и 1992 годах, естественно, нас обвиняли в непонимании последствий. Притом — мы тут же для себя вспоминали, что в 1989 году на Карельском перешейке на семинаре таком-то этот вопрос был поставлен тем-то, и мы проанализировали его последствия, и они такие-то и такие-то. И если пойти так, то на первом шаге будет видимый позитив, на втором шаге негатив, на третьем катастрофа, поэтому в эту сторону идти нельзя. То есть все мыслимые контраргументы были на том уровне, который мы уже прошли.

Тем не менее мы продвигались. Первым шагом пытались ответить на вопрос, почему не работает советская экономика. Я очень хорошо помню наши дискуссии, с этим мы довольно быстро разобрались. А потом был более тяжелый вопрос: а почему работает советская экономика? Почему все-таки, несмотря на неэффективность, на разрушительный характер, она тем не менее еще продолжает работать? Господствовавшая в то время концепция альтернативы плановому хозяйству, восходящему корнями к сталинской концепции экономики, и концепция рыночного социализма нас не устраивали. Было понятно, что нет никакого директивного управления экономикой, это сказки, не соответствующие действительности. Точно так же было понятно, что не работает и социалистическая рыночная экономика. Но постепенно мы для себя пытались найти ответ. Важную роль сыг-

рал Виталий Найшуль с концепцией административного рынка, которая для нас была очень важна.

Ну, а вслед за общими решениями мы перешли к вопросу о том, какова последовательность. Понятно, что есть, понятно, что нужно построить. А как перейти? Как перейти от одного к другому? Как перейти в макроэкономике, как перейти в денежной системе, в десятках других компонентов, которые взаимоувязаны в один целостный механизм? Во всей этой работе роль Сергея Васильева была уникальной, о чем я сегодня хотел ему торжественно признаться.

Андрей Колесников:

— А как это виделось из Москвы?

Олег Ананьин:

— Моя история была такая. Я учился сначала в университете на экономическом факультете, как и мои коллеги. А потом в аспирантуре в Институте экономики. Еще в университете занялся анализом экономических реформ в Чехословакии, а учился как раз с 1967 по 1972 год, поэтому тема реформ была интересна. Собственно, с этим я пришел в Институт экономики и какое-то время там проработал. А потом меня пригласили в Институт системных исследований.

Что такое Институт системных исследований? Он был задуман как советская модель RAND corporation. Туда собрали философов, математиков, инженеров, социологов, управленцев. Он имел две «шапки»: Академия наук и Госкомитет по науке и технике. А во главе был Джермен Михайлович Гвишиани, вторая должность у него была не менее важная, он был зятем премьер-министра Косыгина. Вот в таком качестве он мог создать достаточно хорошие условия для работы института по тем временам.

И там не сразу встала задача изучить опыт реформ в соцстранах. И тут я перейду к книжке Сережи Васильева, которую прочитал и обнаружил несколько фактических ошибок.

Первое, на что я наткнулся: лаборатория наша будто была создана, чтобы написать книгу тогдашнего премьер-министра Тихонова. Так вот, уверяю, Сережа, это не так, лабораторию создали раньше под изучение реформ. А когда она уже сформировалась, вдруг возникло это задание с книгой.

А что такое книга премьер-министра? Она должна быть про всю экономику. Причем издательство АПН ее издавало, то есть сразу на 20 языках, на весь мир.

Второй момент. В книжке написано, что Комиссия по совершенствованию управления была создана при Андропове. Это не так. Комиссия была создана чуть позже — при Черненко. Сегодня, и не без основания, мы можем говорить, что Черненко был самый темный генсек, самый мрачный, от которого ничего нельзя было ожидать. Решение, что такую комиссию надо создавать, было принято все-таки при Андропове, но ее не успели создать. Однако система работала по инерции, и ее создали при Черненко, а понадобилась она уже при Горбачеве.



Барри Флэнаган. Жонглер. 1944

Если уж говорить, что лаборатория была подо что-то создана, то она была создана под Гайдара. Тогда на горизонте появилось молодое дарование, о котором стало более или менее известно в соответствующих кругах. Как его привлечь в институт, чтобы он согласился? Потому что у него к тому моменту уже была договоренность с Центральным экономико-математическим институтом (ЦЭМИ), он уже дал согласие туда идти, к Ракитскому. Лаборатория была под Егора создана, а Шаталин был нашим начальником.

Еще один момент ошибочный: Шаталин к этому моменту уже не был замдиректора института. Он рассорился с Гвишиани и был заведующим отделом.

А дальше произошло событие, которое уже некоторое количество раз описано. Оно заключалось в том, что Гриша Глазков приехал из Ленинграда в Москву на какой-то семинар в Институт экономики. Я уже в институте не работал, но туда заходил по старой памяти. Мы с Гришей разговорились, и он мне предложил: «А ты приезжай в Питер, там расскажешь». И я поехал, что-то там рассказал и потом мы почти всю ночь разговаривали с Анатолием Борисовичем и Гришей на разные темы.

Что это был за разговор? Я думаю, имеет смысл об этом вспомнить, потому что одна из ключевых тем, вокруг которой он вращался, заключалась в осмыслении того, что такое рыночная экономика. Как я уже говорил, я к тому моменту уже начитался чешской литературы периода реформ и проследил, как она рождалась, какая там логика была. Я увидел эту наивную, как мне тогда казалось, и, в общем, сегодня кажется, логику рынка: мол, он все решит. И пафос моего участия в разговоре был в том, что я пытался умерить рыночный азарт моих собеседников. Но моей аргументации явно не хватило, и этот пыл, по-моему, у них остался.

И поскольку меня они тоже не переубедили, может быть, единственное, что в заключение нужно сказать, что активно мы реформами занялись в 1983–1984 годах, причем готовили реформы не радикальные, это было реформирование тогдашней системы. И поэтому, когда мы дошли до радикальных реформ, мне, честно говоря, они сразу не очень нравились, поэтому я дальше в этом не участвовал.

Андрей Колесников:

— Я сейчас переброшу мост в Петербург. Мы разбираем персональное дело комсомольца Васильева. И тут член парткома института Чубайс, пользуясь своим политическим весом, сказал, что все это полминуты займет.

Анатолий Чубайс:

— Пока Олег рассказывал, я вспомнил эту поездку Гриши в Москву году, по-моему, в 82-м? Он не просто поехал. У него была задача обнаружить рыночников в Москве, и он вернулся с двумя потрясениями с московского семинара. Первое потрясение: «Слушай, там, оказывается, есть нормальные умные люди. А самый главный из них — Олег Ананьин».

А второе потрясение такое: «Ты не представляешь, как там относятся к рыночникам!» Я спрашиваю: «И как же относятся?» В Питере, если скажешь, что ты рыночник, это означало, скорее всего, крах карьеры, а то и более серьезные последствия. Он отвечает: «Там к рыночникам относятся примерно как на Западе к гомосексуалистам. Я выхожу с докладом, говорю, что рыночник. А на меня смотрят, как — ну, бывает, с кем не случается...»

Андрей Колесников:

— Жаль, тут Глазкова нет. Последний раз, говорят, его видели в Индии. Сергей Александрович, может быть, вы нам что-то расскажете, поскольку вы самое часто упоминаемое лицо...

Сергей Васильев:

— Я пару слов хотел сказать, как родилась идея моей книжки. Я обнаружил, читая свои интервью предшествующих лет, что кое-что забываю. И понял, пока все не забыл, пора писать. Второе, почему я решил написать эту книжку, это то, что я хотел написать не просто историю событий, а историю интеллектуальную, историю идей. О том, как они зарождались, как развивались, как они потом преобразовывались в реальной жизни. И третье, я хотел пригласить своих друзей к диалогу, чтобы они тоже начали писать о том, как все было. Вот Олег увидел некоторые неправильности в книжке, это очень хорошо. Нужно, чтобы все занялись воспоминаниями, чтобы из этого сложилась стереоскопическая картина.

Для меня 90-е годы — история действий, а 80-е — история идей. И мне кажется очень важным, что мы почувствовали дуновение свежих ветров с года 79-го. Разные тогда были события. И война в Афганистане, и движение «Солидарность» в Польше... Было видно, что система наша находится на последнем издыхании и изменения явно будут, это и было большим стимулом к тому, чтобы мы начали работу. И даже когда пришел Андропов и в 1983 году произнес фразу, которую потом упростили до формулы «Мы не знаем страны, в которой живем», было ясно, что лед тронулся. Очень здорово, что я тогда смог найти единомышленников и в Питере, и в Москве. Мы довольно быстро друг друга нашли, и сформировалась эта команда. В 70-е трудно было представить, что что-то такое возникнет, было ощущение полной замкнутости общества.

Андрей Колесников:

— Ну, в вашей среде, по крайней мере, были дискуссии. А среди людей других профессий этих дискуссий не было, в чем вообще мне видится серьезная проблема, заложившая мины на будущее. Петр, может быть, вы вспомните что-нибудь важное?

Петр Авен:

— Во-первых, я не совсем разделяю пафос Анатолия Борисовича о нашей команде экономистов как единственной в стране. Вот тут Павел Алексеевич Медведев находится. Был Евгений Григорьевич Ясин, который тоже писал вполне разумные экономические предложения. Наша

уникальность была скорее поколенческой и личностной, а не профессиональной.

Еще была большая разница между Москвой и Питером. Питерские всегда были диссидентами, мы — абсолютно системные люди. То есть нас брали в Академию наук заниматься тем, чем можно было заниматься. Я попал туда, потому что был аспирантом Шаталина. И когда защитил диссертацию, он предложил мне пойти в НИИСИ (Научно-исследовательский институт системных исследований. — *Ред.*), где я и познакомился с Егором. И в его лабораторию, по-моему, я привел Широнова.

Это был такой нормальный академический мир. Спускались сверху какие-то задания. Заданием было написать книжку для Тихонова, заданием было написать какие-то бумажки. Заведующим у нас был не Егор, а Володя Герасимович... И поскольку было много работы, а Егор писал быстро и хорошо, он стал неформальным лидером.

Мы познакомились с питерскими в квартире у Гайдара. Егор только что женился второй раз. В доме его бабушки мы собрались вшестером. С нашей стороны были Ананьин, Гайдар и я, а с их — Сережа Васильев, Анатолий Чубайс и Глазков. Это была интересная беседа. Прежде всего у нас, конечно, был большой страх. Хотя по нынешним понятиям мы были предельно аккуратны. И вообще были очень советские ребята. Чубайс был еще членом парткома института к тому же.

Питерские были вроде неформалов, а мы были во вполне официальном потоке, под безусловным покровительством наших учителей. Там были выдающиеся люди. Поколение, которое вполне было готово делать реформы, но которому не повезло... Петраков был выдающийся человек, Шаталин, но они были все же менее образованны, чем мы. Хотя и мы были малообразованны.

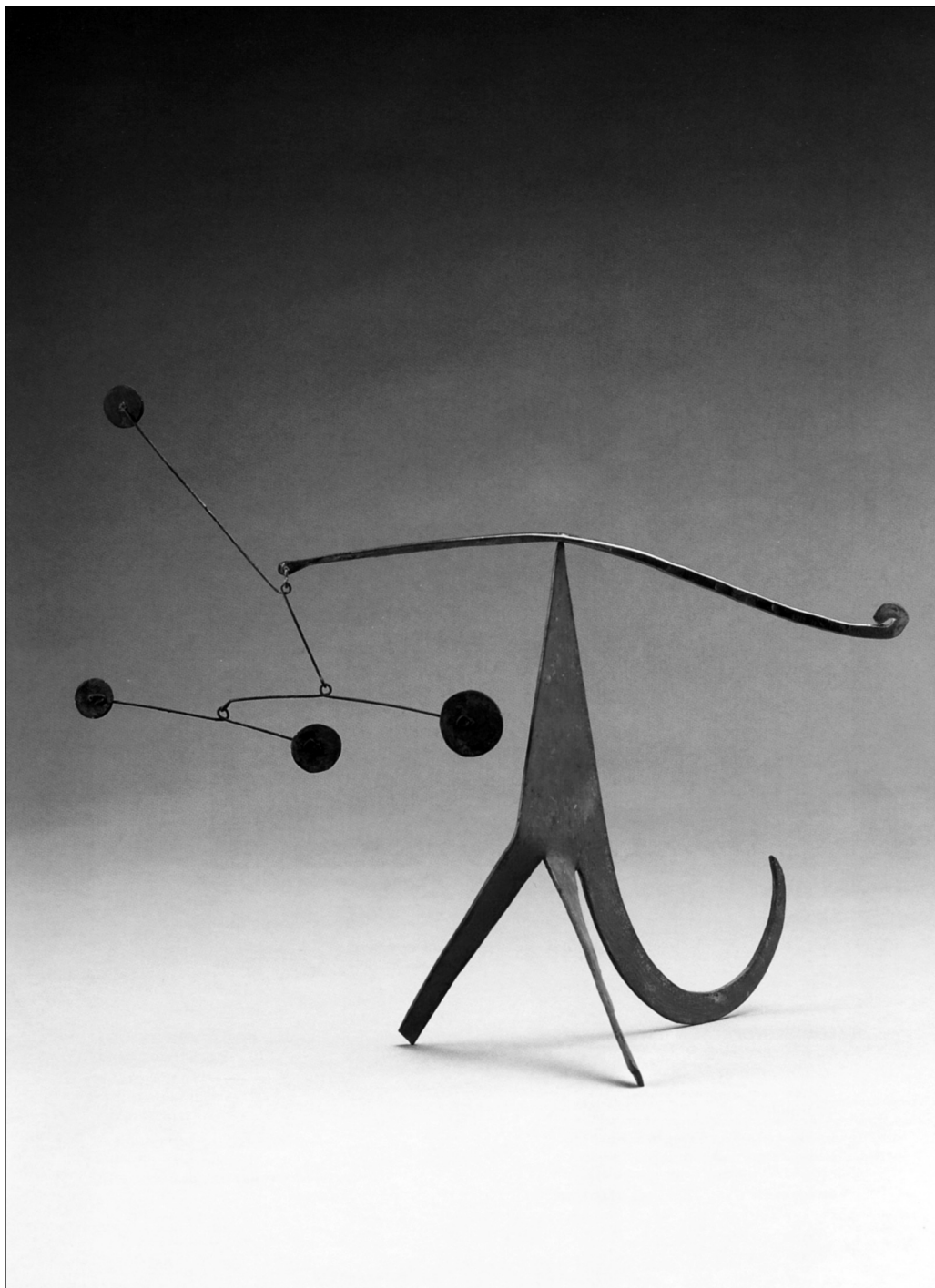
В чем прав Анатолий Борисович — были отдельные группы. У Татьяны Заславской была очень квалифицированная команда в Новосибирске, уж точно не глупее нашей. Но просто так сложилось, что мы оказались на острие. Плюс у нас не только Егор, но и остальные работали быстро и уверенно. И появилась команда, это правда. Кстати, и у Явлинского была своя команда... Мы действительно самонадеянно считали себя самыми лучшими. Но это было сочетание обстоятельств, которое дало нам такой шанс.

Мы были ужасно необразованными. Когда в Москву в первый раз в 1986 или 1987 году приехал Вацлав Клаус и мы с ним поговорили, первое, что он сказал: «Вы же ничего не знаете! Вы же какую-то чушь обсуждаете восточноевропейскую. А на самом деле надо будет делать совершенно другое. Все это к жизни не имеет никакого отношения».

В общем, мы не были единственными. Но как-то так вышло, что благодаря разным факторам, организационным способностям Анатолия Борисовича и ситуации в нашем институте — сложилась команда.

Андрей Колесников:

— В книге Васильева есть такие строки: «Сергей Игнатьев как был лучшим макроэкономистом страны 30 лет назад, так им и остался». Сергей Михайлович, расскажите о своем входе на этот рынок идей.



Александр Колдер. Четыре синих точки на красном штативе. 1964

Сергей Игнатьев:

— В этот круг людей я попал в 1982 или 1983 году, точно не помню. И меня в эту компанию действительно ввел Юра Ярмагаев. Это очень интересный парень, я помню, что он фонтанировал яркими идеями. Они иногда казались мне неправильными. До сих пор помню, что в те самые годы он мне сказал, что без банкротств госпредприятий нам не обойтись. И моя первая реакция была — отторжение. Как это так? А сейчас это нормальная практика.

То, что я познакомился с этими ребятами, в частности с Анатолием Борисовичем, для меня имело большое значение в том числе и потому, что к моменту знакомства у меня не было публикаций. Я много чего писал, разные статьи рассылал в разные журналы, и никто меня не публиковал. А в Инженерно-экономическом институте регулярно издавались сборники на очень плохой бумаге под редакцией Анатолия Борисовича. Первые мои две-три статьи были опубликованы в его сборниках...

Вторым издателем был Егор Гайдар, а третьим Петя Филиппов в журнале «Эко»* в 1988 году.

Для меня это было очень важно, что я вошел в круг этих ребят. С удовольствием вспоминаю встречу в Змеинке (пансионат «Змеиная горка» на Карельском перешейке. — *Ред.*) в 1986 году, а особенно на Ладогe в 1988 году. Прекрасная погода, теплая вода, и эта сцена, когда человек двадцать стоят под дождем, держа над собой натянутый полиэтилен, и о чем-то яростно спорят. И я так посмотрел на это немножко со стороны, ну, сумасшедшие люди!

Андрей Колесников:

— Только сумасшедшие люди делают реформы... Одна из моих любимых фотографий в этой книге: три человека стоят под плакатом «Пьянству бой». Это «Змеиная горка», 1986 год. Олег Ананьин, Вячеслав Широинин и Егор Гайдар. Вячеслав Михайлович, расскажите, что вы там делали под таким плакатом?

Вячеслав Широинин:

— Ну, «это» тоже было. Какова предыстория? В стране развивалось экономико-математическое направление, это был импорт западных идей. Потом мы с Петром Авенем ездили к Заславской. Это был большой источник впечатлений. Новосибирских социологов, можно сказать, пустили ползать на животе по Алтайскому краю и смотреть, как устроена жизнь на микроуровне.

Кроме изучения половинчатых попыток реформ в европейских соцстранах, был еще и глубокий внутренний анализ, который, во всяком случае, на меня очень сильно подействовал интеллектуально.

* «ЭКО» (экономика и организация промышленного производства) — ежемесячный российский экономический журнал, основанный в 1970 году. Издается в Новосибирске.

Ну и Егор Гайдар. Мне кажется, благодаря ему произошло переключение с экономической науки на экономическую политику. Была поставлена задача не «что делать», а «что и как». Егор был реформатором и политиком.

Андрей Колесников:

— Хорошо, что вспомнили еще раз Егора Тимуровича. Отчасти в связи с этим вопрос: когда члены команды поняли, что в рамках такой системы изменить что-либо невозможно, что нужно двигаться к рыночным преобразованиям?

Петр Авен:

— Ну, мы росли вместе со страной, естественно. Нас Шаталин в какой-то момент позвал, и было сказано: «Вы вообще заниматься наукой кончайте! Ваша чистая наука здесь никого не занимает, нужна конкретная программа реформ». Это был, я думаю, год 1986-й. Может быть, 1985-й. Еще Шаталин сказал, что у нас есть год, чтобы написать программу реформ для страны. Это была вполне понятная задача, которую, кроме Шаталина, так больше никто поставить в стране не мог своим подчиненным.

Тогда мы стали обсуждать, как это делать. У нас были две базисные идеи: во-первых, надо заниматься Венгрией, где наиболее продвинутая модель социализма, а во-вторых — Югославией, потому что там работает самоуправление, что тоже полезно... В общем, мы решили не изобретать велосипед, а присмотреться к этим двум странам и на базе их опыта написать план реформ. Я тогда спросил Егора: «А чего мы, собственно, пишем с Венгрии и Югославии? Давай сразу Швецию возьмем». На что мне Егор сказал: «Давай все-таки заниматься чем-то реалистичным».

Но постепенно все разваливалось. То, что казалось реалистичным в 1986 году, устаревало. И на нас большое влияние, психологическое и личностное, имели события, которые происходили в соседних странах.

Я был на семинаре в Австрии, куда приехал польский реформатор Лешек Бальцерович, и мы три дня провели вместе. Я ему Вену показывал, потом он уехал на разбитых «жигулях». А затем в газетах читаю, что Бальцерович назначен вице-премьером и министром финансов в Польше. Меня это ошеломило.

...Реформы, которые мы начинали, были куда радикальнее, чем мы обсуждали. То же происходило в Чехии, в Венгрии, в Польше. Это было движение. Мы двигались за событиями, за тем, что происходило в этих странах. Наш первый серьезный разговор о правительстве был в 1991 году во Франции. Просто мы за развитием шли, и реформы, и их радикализм — следствие изменений.

Анатолий Чубайс:

— Если можно, я добавлю. Я питерскую часть помню... Там, понимаете, что происходило? Мы же начинали с совсем взвешенных позиций. Причем я-то как раз был главный просоветский консерватор. Первые наши дискуссии были о постановлении Совета министров № 695 «О мерах по дальней-

шему совершенствованию хозяйственного механизма». И в этих дискуссиях мои коллеги доказывали, что это полная дичь, лишенная содержания. А я говорил, что они не понимают, что такое новый набор плановых показателей, какие мотивационные механизмы он создает и так далее.

Дальше шаг за шагом происходили исторические открытия, которые я хорошо помню. Вот Сергей Игнатьев правильно сказал, что мы открыли в нашей стране тему банкротства, это было потрясающим открытием. Потом в какой-то момент, помню, Гриша Глазков открыл прибыль. Просто в деталях могу рассказывать, как Гриша, находясь в бане, открыл прибыль. Потом пришел Ярмагаев и сказал, что нужно ограничивать денежную массу. Какую денежную массу, зачем ее ограничивать? Денежная масса, она и есть денежная масса. Нет, сказал Игнатьев, надо ограничивать и наличные и безналичные деньги, всю денежную массу. И раздолбал Ярмагаева, и в ходе этой дискуссии сложилась концепция макроэкономики для России.

Это вы там, москвичи, поначитались всяких буржуазных книжек. А мы открывали все сами.

Я был, наверное, последним, кто понял, что работает либо целостный механизм с макроэкономикой, банкротством, денежной массой, финансовой стабилизацией и частной собственностью, либо ничего. И я тогда сформулировал для себя вопрос, а что мы построить хотим? Это где-то году только в 1988-м, я думаю. По крайней мере в питерской команде было так.

Олег Ананьин:

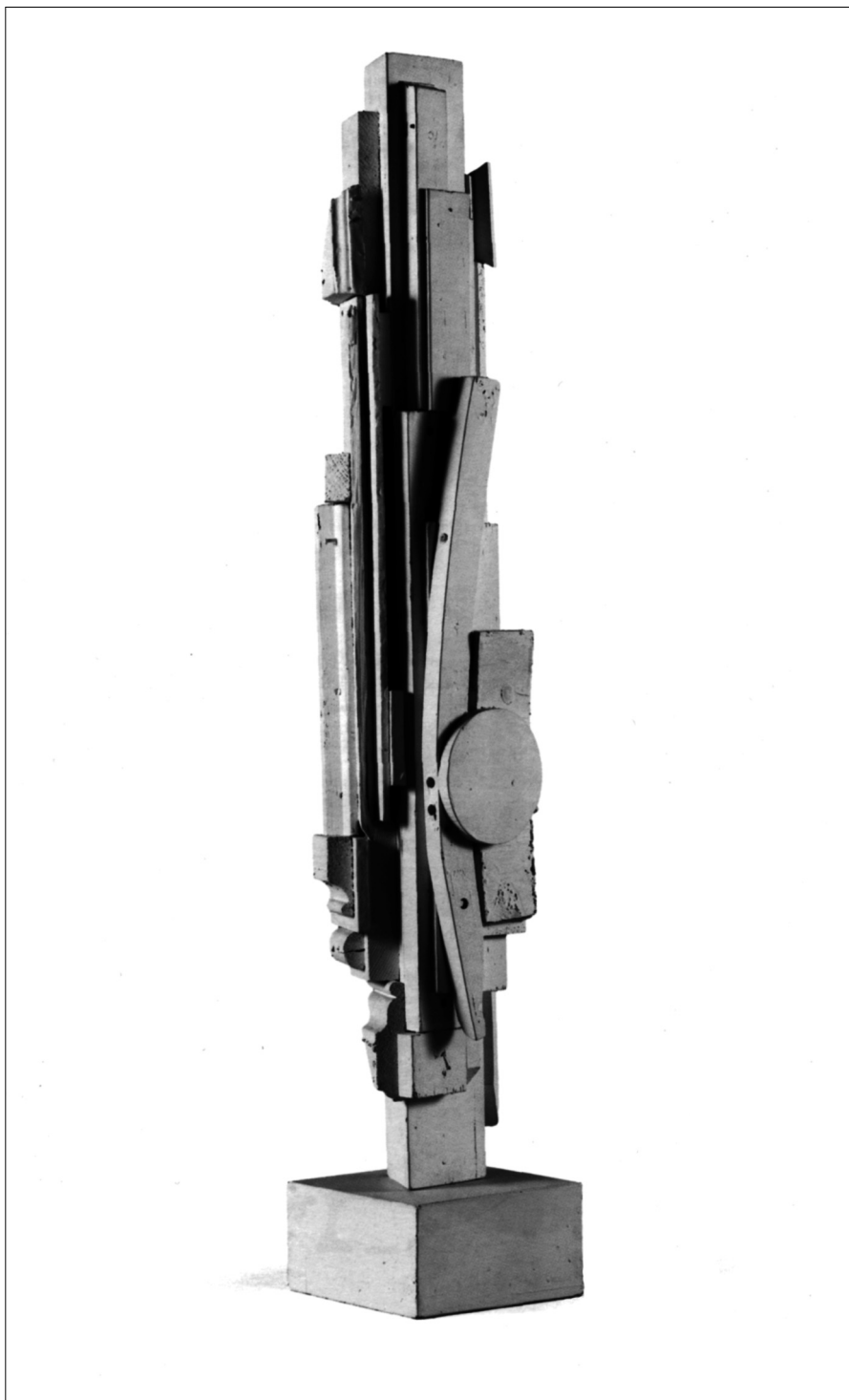
— Я бы прокомментировал то, что Петя сказал. В связи с заданием Шаталина было еще одно очень важное обстоятельство. Шаталин был в течение достаточно длительного времени невыездной, его за границу не выпускали. А когда к власти пришел Горбачев, запрет сняли, он поехал в Англию и там общался с коллегами. А когда вернулся, задачу поставил. Одним из мотивов этого было: «В Англии все советологи мне говорят, что советскую экономику нельзя реформировать». Был такой довольно распространенный тезис о неререформируемости советской системы. И вот нам нужно было написать такую концепцию, чтобы показать, что она реформируемая. Так что была еще и сверхзадача...

Андрей Колесников:

— Не были ли заложены в вашем тогдашнем мышлении какие-то мины, из-за которых что-то пошло потом не так?

Анатолий Чубайс:

— Есть какие-то вещи, которые я рискнул бы определить как крупномасштабные проблемы перехода, которые мы либо фундаментально недооценили, либо вообще не спрогнозировали. Я назову некоторые темы. Тема номер один: неплатежи. Я не помню ни одного нашего семинара, ни одного серьезного основательного обсуждения этой темы. А ведь решение этой проблемы, как мы знаем, 10 лет заняло. 10 лет! Масштабы ее были такими, что она, особенно в части бюджетной, вообще поставила под



Луиза Невельсон. Отражение второе. 1963

вопрос существование государства. Что такое бюджетная задолженность пенсионерам или военнослужащим? Это катастрофа по разрушительному влиянию на социально-политическую атмосферу в стране.

Другой уже не чисто экономический пример. Было понятно, что по инженерно-технической интеллигенции, которая является нашей опорой, из которой, собственно, мы сами все произошли, будет нанесен самый тяжелый удар. Если в стране половина экономики оборонная, если оборонка вся держится на научно-техническом персонале, то абсолютно понятно, что с крахом советского бюджета рухнет сразу процентов 30 экономики. Такого рода связи мы понимали и видели.

Назову третью проблему: криминализация. Мы не видели масштаба и глубины последствий этой проблемы, когда малые города, средние города, да целые регионы от Приморья до Питера в эту тему настолько ввалились, что криминал стал частью правоохранительной системы, государственной власти, системы государственного управления. Бандиты-губернаторы, к сожалению, это реальность. Мы этого не предвидели. Я не помню наших серьезных обсуждений этой темы. А если бы предвидели, то что можно было сделать?

Петр Авен:

— То, что сказал Анатолий Борисович — это следствие. У нас же был абсолютный экономический детерминизм. Мы считали, что если поменять экономические правила, то поменяется и страна. Во многом это следствие собственного высокомерия и замкнутости в своем коллективе. Когда с Вячеславом Широниным мы приехали к Заславской, я там гордо рассказывал про реформы... После доклада молчание в аудитории. Потом Татьяна Ивановна спросила у меня: «Вы что, думаете, что вы вот так поменяете правила — и у вас будет другая страна?» Надо сказать, что мы действительно так считали. И вот то, что мы не понимали, что такое криминалитет, не понимали, что реформа системы не менее важна, чем конвертация рубля, и еще много вещей, которые выходили за рамки экономики, мы это вообще не обсуждали...

Я опять же вспоминаю Бальцеровича. Когда мы уже были в правительстве, Бальцерович приехал в Москву и сказал нам — если вы не будете формировать свое широкое политическое движение, то вообще можете реформой не заниматься. Потому что реформы — это далеко не просто экономический процесс. Мы, к сожалению, поздно это осознали. Поэтому экономический детерминизм в целом и был главной проблемой команды Гайдара.

Сергей Игнатьев:

— Я согласен, что к неплатежам совершенно не были готовы, как и к криминализации. И добавил бы еще один пункт: вплоть до середины 1991 года никто (я не помню, во всяком случае) не рассматривал, как будет работать экономика в условиях распада Советского Союза. Только в августе-сентябре эта тема начала подниматься. Я считаю, что спад, который шел с осени 1991-го по 1997 год, по меньшей мере наполовину объясняет-

ся распадом СССР. Разрыв связей, советский рубль, выпускаемый 15 банками в республиках...

Анатолий Чубайс:

— Я еще вспомнил один конкретный экономический процесс, который мы не предвидели и который на самом деле был очень значим — легкая промышленность. Почему рухнула легкая промышленность в начале 90-х? Мой ответ: потому что таможня рухнула. Рухнувшая таможня, абсолютно коррумпированная и не работавшая... Это челноки, а их тысячи. Так же как ларечники, выросшие потом в предпринимателей, так и челноки, взявшие на себя функцию снабжения импортными шмотками, сформировали свой образ жизни и научились получать доход. Я не помню ни одного нашего серьезного разговора, где бы мы этот срез видели. Про ВПК — да, про легкую промышленность — нет совсем.

Сергей Васильев:

— Пару слов в оправдание. Надо понимать, что мы не предполагали, что режим рухнет в одночасье — эту гипотезу мы вообще не рассматривали. Мы понимали, что Союз будет меняться в направлении большей федерализации. Но случилось так, что все политические структуры распались в течение считанных месяцев. Отсюда многое проистекает — криминализация, крах системы социальной защиты.

Второе, что мы не сразу поняли, это бюджетный кризис... Вот вы говорите неплатежи. А где до этого когда-либо были неплатежи, в каких странах? Такого не было никогда. Реформы были, переходные экономики были, а это уникальное явление. Откуда мы могли знать, мы же изучали чужой опыт.

Андрей Колесников:

— Ну, в общем, были вы градуалисты, были вы системщики, были вы экономические детерминисты, кейнсианцы, марксисты и не учитывали социально-культурные коды, как теперь принято говорить, и возможность сопротивления реформам. Но на самом деле не могли вы это все предвидеть, горизонт был не такой длинный.

Я думаю, что мы перейдем сейчас к вопросам и ответам.

Вопрос из зала:

— Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете роль падения цен на нефть во всем, что произошло, в этом развале, в крахе экономики и прочем?

Сергей Васильев:

— Добавлю к тому, что я сказал: роль ТЭЖ мы тоже не очень хорошо понимали. А про нефть: если бы цены на нефть в 90-е годы были выше, то проблем было бы гораздо меньше: бюджетные проблемы решались бы гораздо лучше, бюджет был бы более наполненным, были бы деньги на социальные расходы... Так что высокие цены на нефть, конечно, помогли бы экономике, и спад, возможно, не был бы таким глубоким.

Анатолий Чубайс:

— Гайдар говорил, что самая короткая история описания краха Советского Союза — это график цены на нефть с 1984 по 1989 год.

Андрей Колесников:

— Вот я вижу, что Нечаев с Кудриным пошептались. Может быть, вы всем расскажете, как говорят в школе в таких случаях?

Андрей Нечаев:

— Я просто Алексею Леонидовичу рассказал одну историю, а он говорит, что это может быть интересно всем. Это по поводу прогнозов.

Я в московскую команду вошел одним из последних, познакомившись с Гайдаром в институте* Александра Ивановича Анчишкина, а потом став заместителем Тимура в Институте экономической политики. Я был из другой школы, в которой как раз до последнего верили, что социализм можно улучшить и придать ему человеческое лицо. Тогда мы делали очень серьезную работу. Называлась она «Комплексная программа научно-технического прогресса и его социально-экономические последствия». И потом головным институтом стал как раз институт Александра Анчишкина. И у нас все время получалось, даже в самом первом варианте программы развития до 2000 года, который, по-моему, в 1980 году мы подготовили, что темпы роста были 1,5–2,0%. И ЦК КПСС был очень недоволен этим результатом. Было специальное совещание, где было приказано поднять темпы роста до 3%. Анчишкин с Яременко были люди достаточно принципиальные и по-научному упертые. И Анчишкин сказал, что у нас получается 1,5, максимум 2%. И тогда нашли такое компромиссное решение, что 1,5–2% роста получаем за счет научно-технических и материальных факторов, а еще 1% — за счет совершенствования хозяйственного механизма. Этот раздел в комплексную программу должен был написать Евгений Григорьевич Ясин со товарищи, что он и проделал. И все остались довольны, что в целом прогноз 1,5%, но еще плюс процент за счет реформирования хозяйственного механизма.

Голос из зала:

— Скажите, пожалуйста, как вы представляли конверсию и перестройку машиностроения?

Сергей Васильев:

— Вообще говоря, идея конверсии, которая была Горбачевым выдвинута, правильная, потому что он уже видел сокращение бюджета. Но те, кто тогда был в зрелом возрасте, помнят, что ничего хорошего из этого не получалось. Но опять же — году в 1988-м, когда мы это обсуждали, мы плохо представляли, какая ситуация будет с бюджетом и какие предстоят сокращения. Поэтому ни о какой конверсии в 90-е годы реально речь идти не могла. Вся конверсия состояла в том, что реально предприятия

* Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса СССР.



Жан Дюбюффе. Пейзаж с флагом. 1968

закрывались, а недвижимость отдавалась в аренду или под малые предприятия.

А что касается машиностроения, то крах отрасли был совершенно неизбежен, потому что когда у вас инвестиционная пауза, ничего не строится. И вдобавок открылся международный рынок. Газпром, например, в 90-е годы покупал хорошее импортное оборудование, а не российское. Это потом Газпром начал загружать российские предприятия. Судьба машиностроения и тогда была незавидная, и сейчас тоже. В России машиностроение не имеет хороших перспектив, потому что для того, чтобы создавать машины, нужно, чтобы они хотя бы в стране использовались. Не выйдет сразу на экспорт производить, это абсурд. Значит, должен возникнуть внутренний рынок и тогда что-то с этого рынка пойдет на экспорт. А сейчас такая ситуация, что мы все ввозим. Ничего не можем производить или ввозим по минимуму...

Андрей Илларионов:

— У меня смешанные чувства от нашей сегодняшней встречи.

Потому что, конечно, очень приятно видеть людей, с которыми ты провел, возможно, лучшую часть своей жизни в интеллектуальных спорах, дискуссиях.

С другой стороны, чем отличаются эти мероприятия от того, что было в те 80-е годы? Тем, что совершенно другой жанр. Тогда были действительно научные семинары, споры хоть под тем самым тентом из полиэтилена во время дождя. То, что происходит в последние годы, носит характер мемориально-культурный.

Тем, кто ставил вопросы, начиная с 1992 года, в том числе и члены одной из команд, и требовал, просил, уговаривал обсудить их, был дан отказ. Вспоминаю Олега Ананьина, помню, что с 1996 года он постоянно говорит — вы не обращаете внимание на то-то и то-то. Когда-нибудь вопросы, которые поднимал Олег, были обсуждены в команде? Ответ — нет.

Почему такая интересная история с этими семинарами? Потому что семинары начались еще в 1979 году, а последний реальный научный семинар, претендующий на право именоваться научным, прошел в январе 1992-го на даче, если не ошибаюсь, в Архангельском, по поводу реального валютного курса. То, что происходило в последующие 25 лет, представляет несопоставимо более значимый интерес и для нас, и для членов команды, и для тех, кто сидит в этом зале, и для тех, кто находится за пределами этого зала.

Почему приватизация оказалась именно такой? Почему от одной модели, которая была принята в 1991 году, перешли к другой? Откуда взялись залоговые аукционы? Что такое стабилизация, базирующаяся на фиксированном валютном курсе, на так называемом коридоре, убивавшем в течение четырех лет в 1995–1999 российскую экономику? В 1994 году начался очень бурный экономический рост, на 6% было увеличено промышленное производство. Он был убит той политикой, которая проводилась потом. Проводилось ли содержательное обсуждение просто

чисто экономических вопросов, не говоря уже о криминалитете, о политических вопросах? Ответ — нет. Был ли такой запрос? Конечно, был, постоянно задавались вопросы. Я их неоднократно задавал. Ответ какой? Мы не будем это обсуждать. Почему? Потому что другая цель — представить вот эту культово-мемориальную часть, но не содержательную...

Что значит — бюджета не было? В советское время все бюджетные расходы составляли 50% ВВП. В 1992 году они составляли 69% ВВП. Бюджет никуда не исчез, он стал гораздо больше.

Воздействие цен на нефть. Все уже исследовано, показано неоднократно. Цены на нефть с 1986 по 1992 год не упали, а выросли на 36%. Это официальная статистика. Кто не видел этого, посмотрите еще раз.

Предположение о том, что у нас легкая промышленность упала из-за того, что была ликвидирована таможня — это в переводе на обычный экономический язык означает, что вы хотели бы сохранить таможню, чтобы заставить платить российских граждан за некачественные товары. Вот что было сказано сейчас. Это означает понизить уровень жизни.

Что касается мифа, который в очередной раз был воспроизведен здесь, что это была единственная команда. Но, конечно, крупнейший центр, который просто неприлично не называть, как бы мы ни относились к нему, — это Григорий Явлинский с программой «400 дней» и «500 дней». Причем это тот случай, когда документ реально есть. Он опубликован, доступен каждому. Вопрос: наша команда (я в данном случае не отделяю себя от команды) воспроизвела ли какой-то документ, сопоставимый с тем, который сделал Григорий Явлинский со своими коллегами в 1989, 1990, 1991 годах? Ответ — нет.

Был произведен другой документ летом 1992 года под руководством Сергея Васильева. Это действительно первая содержательная, детальная, очень серьезная программа. Но это уже была правительственная программа. Существенное качественное отличие того, что делал Явлинский: у него с первой страницы идут слова «надо людям дать свободу». Где у нас свобода? Вот рассказали бы историю о том, как принимался приказ о свободе торговли в январе 1992 года и кто и как ему сопротивлялся. И когда вышел большой том Института Гайдара, если не ошибаюсь, в 1996 году, о реформах, в этом томе нет слова «свобода», как это ни покажется странным, а может быть, и закономерным.

Это тоже очень важное объяснение, почему у нас получилось то, что получилось. А именно за этим, мне кажется, люди пришли в зал... Реального, содержательного разговора ни среди членов команды, ни с другими нет.

Сергей Васильев:

— Андрей, я не собирался тут диспут устраивать, и вообще это презентация книжки. И это не семинарская атмосфера. Во-вторых, я с Григорием Алексеичем очень шапочно знаком.

Мне Явлинский как-то не близок, и не могу сказать, что хотел бы его сегодня здесь видеть. Это первое. Второе, скажи, я когда-то отказывался обсуждать с тобой какие-то вопросы?

Андрей Илларионов:

— Ты нет.

Анатолий Чубайс:

— А я?

Сергей Васильев:

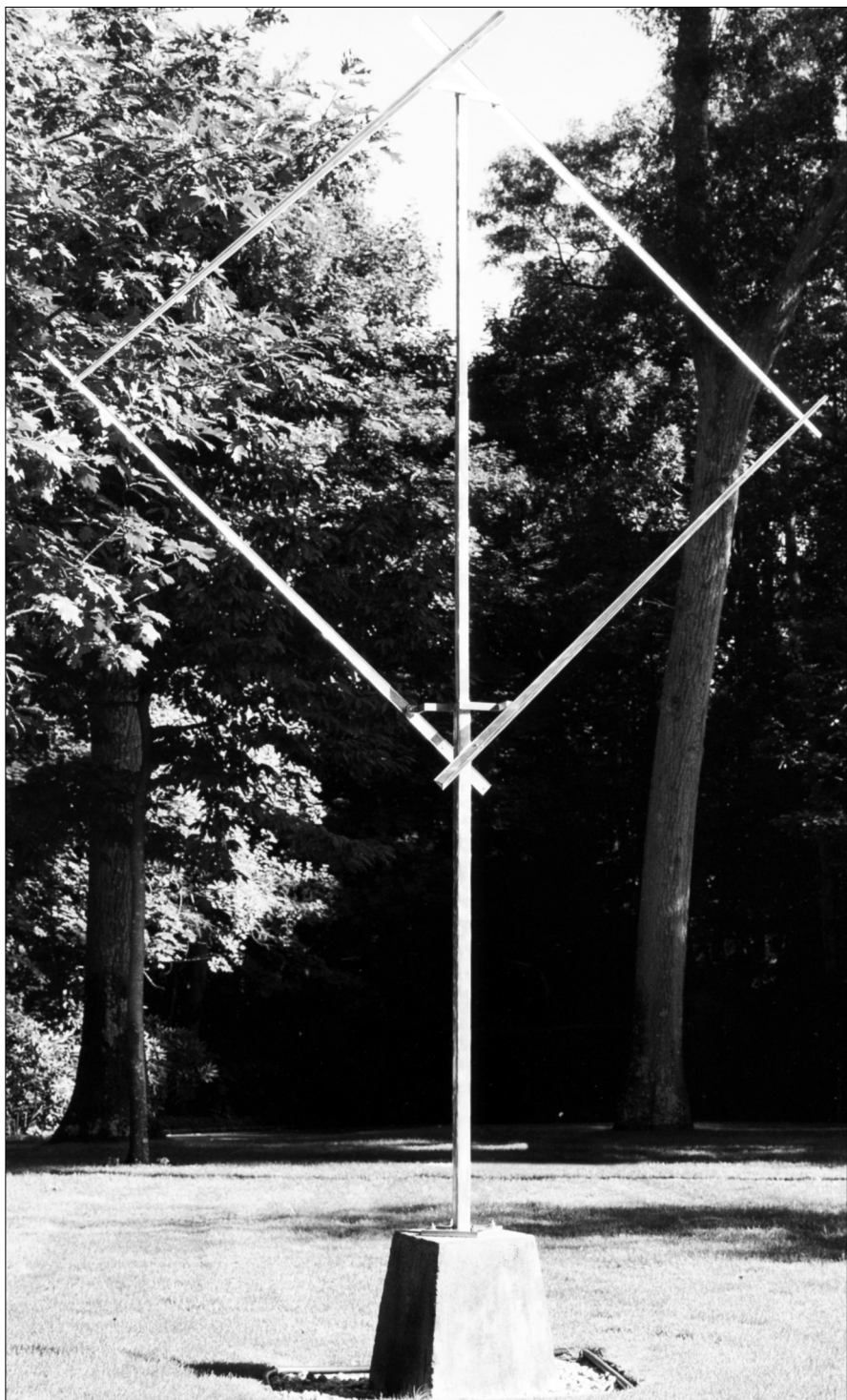
— Если говорить серьезно — я хотел сказать об этом в заключительном слове, что нужен, наверное, исследовательский проект по реформам 90-х годов. Потому что действительно есть много вопросов. Но я не считаю, что это должен быть спор на кулаках, а должно быть серьезное исследование. Мы должны документы поднять и увидеть, как и что произошло. По счастью, большая часть участников этих событий в добром здравии и может рассказать, что и как тогда было, если, конечно, память не откажет.

Петр Авен:

— Андрей, я, наверное, в отличие от многих, с тобой всегда готов был разговаривать. Более того, я тоже считаю, что атмосфера культовая не только морально неоправданна, но и неэффективна. Потому что вызывает ответную реакцию, которая тоже уходит в крайности. Я не являюсь поклонником залоговых аукционов и об этом много раз говорил, что это была большая ошибка Анатолия Борисовича. Но мы с ним это много раз обсуждали в спокойном и разумном режиме и никогда не переходили на личности. То, что мы слышим в отношении Гайдара, особенно несправедливо и неправильно. Когда, например, ты говоришь, что не я, а Гайдар ввел единый валютный курс, это чушь. Потому что Гайдар был моим премьер-министром. Когда ты говоришь, что не Гайдар принимал закон о торговле, это тоже чушь. Потому что ни один закон в то время (а ты работал в правительстве) не мог пройти без одобрения Гайдара, он отвечал за экономический блок. Все личные инвективы в адрес Гайдара во многом определяются тем, что люди не были «в этих ботинках», как говорят по-английски. Очень легко обвинять, не будучи там и в то время. Мне кажется, эта дистанция, к сожалению, очень часто не осознается, в том числе и Явлинским... Поэтому я безусловный сторонник разговоров и научных семинаров, но мне кажется, что прежде всего надо понимать, где был тогда Гайдар и мы все. И второе, найти правильный тон этого разговора, который пока не найден.

Андрей Колесников:

— Можно я скажу? Я всегда восхищался этой командой, в том числе и Андреем Николаевичем. В 1992 году я попал в Волынское, где работала команда. И первые люди, с которыми как журналист познакомился, были Сергей Васильев и Андрей Илларионов. Мне безумно нравилась атмосфера командной работы в переломный для страны момент. Сохранить это, конечно, невозможно. И время повторить невозможно. Но возможна корректность в научной дискуссии, она крайне важна. Я всю команду, присутствующую здесь, призвал бы к взаимопониманию.



Джордж Рики. Рассеченный по диагонали квадрат II. 1983

Дмитрий Зимин:

— Я когда-то принял такую жизненную позицию, что иногда бывает трудно молчать, даже когда тебя не спрашивают. Сейчас как раз такой случай, поскольку я, видимо, один из заметных бенефициаров реформ, которые проводила команда. Эти годы были самыми счастливыми в моей жизни.

Я хотел просто сказать, что я и мои коллеги бесконечно благодарны реформаторам за то, что они тогда сделали. И одна из сложностей, которая там была, которая никем не учитывалась, это состояние наших мозгов. Причем даже мозгов вершин инженерного комплекса, которые о рынке, о правилах поведения на рынке имели очень смутное представление. Мы учились на ходу, и дело здесь было совсем не в экономике. Еще раз низкий вам поклон.

Андрей Колесников:

— В зале есть младшие члены команды. Алексей Леонидович, может быть, что-то вспомните?

Алексей Кудрин:

— Я помню 1989 год, когда в Репино состоялся один из семинаров, на котором доклад делал Боря Львин, он рассказывал о международных отношениях в России и их значении для Советского Союза. О том, насколько в тот момент начинавшиеся сепаратистские настроения подтачивали очень серьезно ту экономику, которая и так уже была неустойчивой. Анализировались инвестиции в республики и их эффективность в конечном счете. Потому что Госплан заботился обо всех республиках и размещал производительные силы таким образом, чтобы загрузить предприятия, создать рабочие места с учетом плотности населения. И вот отсюда ждать высоких темпов роста было невозможно.

Но один из основных выводов, который важен и сегодня, это то, что на первом месте стоят даже не политические или экономические вопросы, а национальные. Именно национальный вопрос повлиял на развал СССР. И это ни чьей-то подписью, ни какими-то сиюминутными переговорами определялось. В общем, организм Советского Союза, сохранявшийся на основе тоталитарного режима, в тот момент терял эти свои скрепы, как теперь говорят, и национальный вопрос стал вопросом номер один. В общем, он и сыграл основную роль в развале СССР.

И тогда Борис Львин сказал: «У нас единственная страна, где на первом месте стоит все-таки национальный вопрос». Мы это обсуждали. И дальше обсуждался сценарий, что может происходить, если будет нарастать этот сепаратизм. И кто помнит книжку Гайдара «Гибель империи», то там приводятся документы до 1990 года, где показаны доклады министерств, доклады Центробанка о том, как республики отказывались выполнять те планы и показатели, которые высылал Госплан. В общем, система начала разъезжаться. Петербург, Москва всегда были городами особого снабжения. И тогда у нас уже вводили карточки. Это было до того, как начала работать команда Гайдара. Собственно, когда пришел Гайдар, выхода уже

не было. Те плановые механизмы, которые обеспечивали какую-то координацию экономики до этого момента, уже распались. Нужен был какой-то иной механизм, но времени его искать уже не было.

Я как-то сказал, что Россия — это мини-Советский Союз. У нас по-прежнему есть регионы, есть национальности. И мы не должны забывать, что национальные проблемы по-прежнему существуют. Экономическое ослабление России, конечно, может усилить сепаратистские настроения. Мы должны это понимать.

Сергей Дубинин:

— Одним из поразивших меня тогда, сразу после прихода Горбачева к власти, было его заявление (это я слышал по телевизору, так как был очень далек от генсека в то время): «Национальный вопрос в нашей стране решен». Понимаете, с чем пришла страна к 1985 году? И такое представление буквально царило в нашей партийной иерархии.

Другой штрих — уже после распада Советского Союза, та самая ситуация с рублевой зоной. У меня было несколько должностей, и мне приходилось ездить по республикам. Помню разговоры в Киеве, причем Крещатик пустой, машин нет, потому что нет бензина. И председатель национального банка мне говорит, не помню, как его звали: «Вы там дурака валяете, зажимаете рубль, не даете своим предприятиям. А я здесь советские рубли выпускаю столько, сколько надо. И наши предприятия будут покупать в Москве, в России. А вы там продолжайте валять дурака, бороться с инфляцией, выполнять рекомендации Международного валютного фонда. А вот мы будем жить по-другому». И все смеются, дружески настроенные советские люди, руководившие тогда уже независимой страной.

И последний штрих про человека, к которому я до сих пор отношусь с определенным уважением. Это как раз про Григория Явлинского. Я никогда так об этом не вспоминал. Я его знал, наверное, не хуже, чем Егора Гайдара; я был в каком-то третьем списке в программе «500 дней», писал какие-то законопроекты как раз по Минфину. Это моя тема, я знал, что такое бюджетная система, прежде всего банковская, поскольку изучал Америку и был доктором наук по американской тематике.

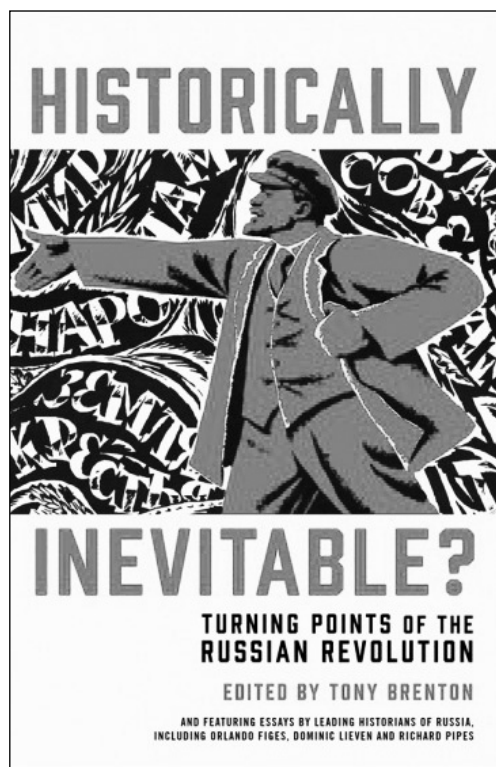
Человеку предлагали и должности, он даже какое-то время их занимал сразу после путча. Он входил в правительство. Но потом что-то произошло, какие-то нервные события, он хлопнул дверью и ушел. Ему делали всякие предложения. Ну, как-то не было ответа, это была принятая позиция, человек не взял на себя ответственность, вот в чем дело.

И как многие здесь присутствующие, я принадлежал к этой команде, хотя вначале в семинарах не участвовал. Я пришел из аппарата Горбачева в правительство Российской Федерации. Вот взяли они ответственность. Этим люди команды отличаются от очень многих других. И когда я встречаю сейчас некоторых наших коллег, они говорят, что по старой советской привычке просто не знали, что тогда делать, потому что непонятно было, к чему это приведет. А эти ребята по крайней мере не боялись брать на себя ответственность.

В фантазиях о прошлом

Tony Brenton (Ed.). Historically Inevitable? Turning Points of the Russian Revolution. London: Profile Books, 2016. — xviii, 364 p.

История сослагательного наклонения не имеет — этому нас научили еще в школе. Тем не менее, когда разум человеческий сталкивается с грандиозными событиями, переворачивающими весь привычный строй жизни, люди невольно думают: господа, неужели чаша сия была неизбежна и произошедшее не могло сложиться иначе? Для человека, располагающего свободой воли, подобные вопросы вполне естественны. Большевицкая революция 1917 года — прекрасный тест в этом отношении. Зная о сопутствовавших ей издержках и ужасах, просто нельзя не пофантазировать. Действительно, как выглядел бы наш мир, если бы Великого Октября не было? Насмешки над этой исторической маниловщиной, разумеется, неизбежны, но авторы рецензируемой книги нарочито пренебрегают ими. Задумавший этот проект Тони Брентон, специалист по России и бывший посол ее величества в Москве, привлек к участию в этом контрфактуальном упражнении множество известнейших историков-русистов. Список авторов, явно свидетельствующий в пользу этого сборника, впечатляет: здесь среди прочих Доминик Ливен, Ричард Пайпс, Орландо Файджес, Катриона Келли, Ричард Саква, Дуглас Смит, Шон МакМикин. И все они, как выяснилось, не против порассуждать о том, была ли историческая



неизбежность большевицкой революции и предшествовавших ей событий такой уж неизбежной. Что было бы, если бы, не умея справиться с потрясениями 1905–1907 годов, Россия обратилась за помощью к Германии? Что было бы, если бы патруль Временного правительства узнал загримированного Ленина, идущего в Смольный, и арестовал его? Что было бы, если бы заговор против Распутина провалился? Что было бы, если бы монархистам-энтузиастам удалось освободить царскую семью из тобольского пленения? А если бы Фанни Каплан оказалась менее близорукой и

более меткой? Или если бы вмешательство держав Антанты в Гражданскую войну в России не ограничилось гомеопатическими дозами, а превратилось в полномасштабную и полноценную интервенцию? «Что за чушь?» — недолго спросит иной читатель. И будет неправ.

Защищая правомерность подхода, который объединил четырнадцать исторических статей, вошедших в книгу, известный специалист по России Доминик Ливен в своей главе пишет: «В контрфактуальных рассуждениях можно, конечно, увидеть лишь забаву, раскрепощающую воображение, но на деле у них есть и более серьезное предназначение. Нет ничего более глупого, нежели убеждение в том, что ход истории предопределен. И дело не только в том, что подобный взгляд ложен; он к тому же санкционирует моральную пассивность и политическое бездействие» (р. 28). В данном плане изыскания касательно того, можно ли было в 1917 году или сразу после этой вехи направить российскую историю в другое русло, кажутся очень своевременными: триумф политической косности, не раз наблюдавшийся в русской истории и сегодня переживаемый нашей родиной заново, неизменно приводил многих думающих людей к мысли о том, что ничего сделать нельзя, что в социальной жизни нашей торжествует фатум, что у России есть неисправимая судьба, печальная и трагичная. Авторы же рецензируемой книги, фантазируя о прошлом, напротив, объединенными усилиями доказывают, что такой железной предрешенности в истории русской революции вовсе не было и не могло быть, поскольку на каждом отрезке своего историче-

ского пути Россия проходила многочисленные развилки, где можно было свернуть либо в одну, либо в другую сторону. Как правило, каждый подобный случай оборачивался «поворотом не туда», принимались самые худые решения, но ответственность за это не стоит возлагать на неведомые трансцендентные силы: выбор совершали люди, способные, теоретически по крайней мере, предпочесть иной вариант — тот, который сегодня подошел бы нам больше.

Принимая такой расклад во внимание, приходится признать, что размышления о русской революции в парадигме «что было бы, если бы» не только вполне законны; они вдобавок очень стимулируют нас, отмечающих столетие небывалой революции, в высшей степени критично оценивать последствия собственных поступков и действий, которые совершаются здесь и сейчас, поскольку в истории «поворот не туда» не обозначается указателями: его запросто можно не заметить, зачастую он очень похож на магистральную дорогу. История есть усилие, создаваемое человеческими устремлениями; рецензируемая книга напоминает именно об этом и как раз в этом ее ценность. Ведь в действительности реконструкции прошлого, предпринимаемые ее авторами, ориентированы в будущее. Авторы, в сущности, напоминают читателю об одной и единственной вещи: творя историю из времени настоящего, надо делать это так, чтобы через сто лет потомкам не пришлось бы обсуждать вопрос о том, «что было бы, если бы». И в этом они, безусловно, правы.

Андрей Захаров

Контрапункт

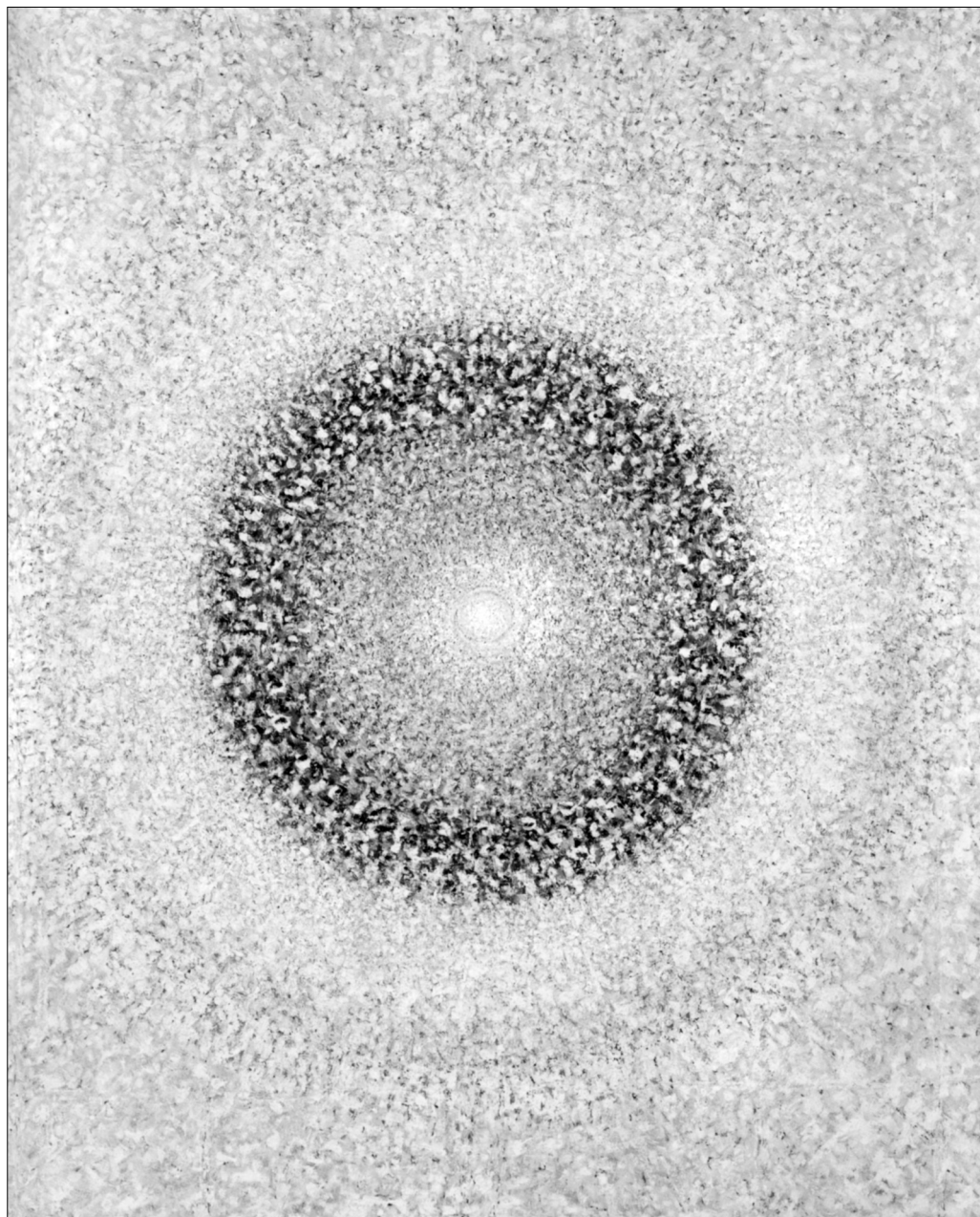
ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫТЕСНЕННОЙ ПАМЯТИ. ОСТАРБАЙТЕРЫ

В годы Второй мировой войны все немцы, остававшиеся в Германии и Австрии, сталкивались в своей повседневной жизни с *остарбайтерами*. Последних были миллионы, они работали на заводах, на стройках, в сельском хозяйстве (у «бауэров»), в качестве няnek и домашней прислуги. Все они были обязаны носить синие нарукавные нашивки с надписью OST. При этом подавляющее их большинство содержались в своеобразных концлагерях, работали по 12 часов в день бесплатно или за нищенскую плату. Все они подвергались унижениям и жили в постоянном страхе. Большинство из них были угнаны в Третий рейх насильно, будучи подростками 16–18 лет. Более чем две трети были угнаны с территории Украины. После освобождения они прошли фильтрационные лагеря и допросы НКВД. Большинство из-за «плохой» анкеты не смогли в дальнейшем получить хорошее образование и сделать карьеру. Всю жизнь их преследовал страх и чувство вины. Они молчали о своем опыте рабства в Германии на протяжении десятилетий. Об этом чаще всего не знали даже близкие родственники. Уничтожались свидетельства и документы, рвались семейные связи. Между тем остарбайтеров было очень, очень много — от 3,2 до 5 млн человек, по разным оценкам.

Немцы, с их обостренным чувством вины, вспомнили о советских остарбайтерах в 1989 году. Тогда фракция «зеленых» в бундестаге заявила о необходимости компенсации тем миллионам людей из Восточной Европы, которые были принуждены к рабскому труду на чужбине. В тот же год немецкие депутаты направили письмо в только что созданное общество «Мемориал» и академику Андрею Сахарову. В письме содержались ключевые вопросы. Сколько было всего угнано остарбайтеров? Сколько их еще живет в СССР? Как сложилась их судьба после войны? Каков их статус? Никто тогда не



Владимир Рыжков,
политик, публицист



Ричард Пузетт-Дарт. Я в центре. Примерно 1965–1967

знал ответов на эти вопросы. Тема была полностью неизвестна как в Германии, так и в СССР.

После получения письма из Германии молодой «Мемориал» опубликовал небольшую заметку в газете «Неделя» (приложение к «Известиям»). В заметке опromетчиво обещались выплаты бывшим остарбайтерам (немецкие пенсии), а также указывалось, что заниматься этим будет «Мемориал». Заметка произвела ошеломляющий эффект. Она была перепечатана в десятках региональных изданий. И в «Мемориал» рекой потекли письма. Их число было невероятным — более 400 тысяч! Так, впервые после окончания войны, сотни тысяч советских остарбайтеров



вышли из подполья. После этого, во многом неожиданно для самого общества, «Мемориал» стал системно заниматься изучением вопроса, формировать архив, собирать документы. Теперь эта громадная работа увенчалась изданием фундаментальной книги: **«Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах»**. (Авторы-составители: А. Козлова, Н. Михайлов, И. Островская, И. Щербакова. — М.: Agey Tomesh, 2016. — 400 с., илл.). Работа архива «Мемориала» и издание книги поддержаны Дмитрием Зиминным и немецким Фондом имени Генриха Белля.

Книга издана на высоком полиграфическом уровне и содержит сотни иллюстраций — фотографий, документов, писем того времени. Все это собрано и тщательно подобрано коллективом составителей и авторов. Это не научная монография, а собрание бесценных источников по теме. «Мемориал» записал сотни воспоминаний остарбайтеров, пока они еще были живы и пока была возможность сохранить их свидетельства. Материал книги — ценнейшее собрание уникальных источников, без которых немислимо сохранение памяти об их судьбе и научное изучение этой темы. Книга беспрецедентна и имеет огромную научную, общественную и гражданскую ценность.

Материал книги разбит хронологически на ключевые для судьбы остарбайтеров разделы. Начинается он с рассказов о довоенном детстве и ранней юности героев книги. Потом о начале войны и стремительной немецкой оккупации, в которой летом-осенью 1941 года внезапно для себя оказались 60 миллионов советских людей. Далее следует история угона в Германию. Обширная третья часть книги — детальный рассказ о жизни и работе в Германии. Четвертая часть — репатриация в СССР, фильтрация, допросы. В заключение глава «Груз молчания» — о десятилетиях жизни с чувством вины и страха. Авторам-составителям удалось отобрать очень яркие и при этом типически обобщающие истории и свидетельства жизни и судеб юных остарбайтеров — девушек и молодых мужчин.

В СССР с памятью о насильственном уgone в Германию сложилась поразительная ситуация. С одной стороны, в стране жили, работали, рожали и воспитывали детей миллионы бывших остарбайтеров. С другой стороны, никто ничего об этом не знал. Сами вернувшиеся помалкивали, опасаясь позора и неприятностей для себя и для близких. Власть тем более молча-

ла — ведь оккупация почти всей европейской части СССР и угон миллионов советских граждан в рабство напоминали власти о довоенных преступлениях режима и позоре 1941 года.

Остарбайтеры никак не вписывались в официальный героический нарратив Великой Победы, в котором все, кто остался за линией фронта, были либо герои-партизаны, либо (совсем немногие отщепенцы) коллаборационисты-полицаи. Остарбайтеры же не были ни теми, ни другими. Они не имели в результате никакого статуса — ни как жертвы войны, ни как ее участники, ни как ветераны. Они были для советской власти — *никто*, подозрительные элементы. Сами «жертвы двух диктатур» (термин историка Павла Поляна, автора нескольких книг об остарбайтерах) также хранили о своем прошлом полное молчание. Они опасались не только преследования властей (что нередко случалось), но и обвинений соседей и друзей в том, что «жили в годы войны в Германии и работали там на немцев». И хотя в обвинительном акте Нюрнбергского трибунала угон в рабство жителей Европы занимал важное место, в советские учебники и исторические хроники это не попало. Тех, кто возвращался, называли околичнo «репатриантами». Им запрещали селиться в Москве, Киеве и Ленинграде. Многие из них были отправлены в так называемые рабочие батальоны — на новый полупринудительный труд по восстановлению заводов и шахт, на лесозаготовках.

Советская власть относилась к остарбайтерам даже хуже, чем к тем, кто прошел через немецкий плен, через германские концлагеря. Годы, проведенные в рейхе, не засчитывались в трудовой стаж и не входили в состав коллективной советской памяти о войне. Большинство из выживших остарбайтеров (а ведь погибли в Германии десятки тысяч из них — от голода, холода, болезней и бомбежек) всю свою жизнь испытывали необъяснимое чувство вины. Как будто это они были виновны в немецкой оккупации, в насильственном угоне из родных домов на чужбину, в рабском труде. Власть культивировала в них чувство вины. Так было проще уйти от вопроса о ее собственной ответственности за произошедшее, оправдать свою жестокость по отношению к этим людям.

Опыт угона и жизни в Германии был трагическим — даже для тех, кто попал в относительно человеческие условия. Молодые люди были силой оторваны от родных и близких, у большинства из них не было в тот момент никакого жизненного опыта. Большинство трудилось каждый день на протяжении нескольких лет — нацистам нужны были рабочие руки, заменяющие миллионы мужчин, призванных в армию. Каждый день все они сталкивались с унижениями, будучи людьми даже не второго, а третьего сорта. Их называли «русскими свиньями» (а после возвращения девушек, уже дома, часто называли «немецкими подстилками»). В Германии к ним чаще всего относились как к скоту — продавали на «невольничьих рынках», щупали мускулы, осматривали зубы.

Страх преследовал героев книги всю их жизнь. До войны — для многих репрессии близких, голодомор. Потом угон в Германию и там страх наказания и смерти. После возвращения на родину — страх наказания без вины, страх общественного осуждения. Память о годах рабства вытесня-

лась, стиралась, свидетельства уничтожались. Теперь же, благодаря огромной работе, проделанной сотрудниками «Мемориала», многое удалось восстановить. Бывшие оstarбайтеры привыкли быть предоставленными сами себе. Десятилетия их никто не вспоминал. Эта страница была вырвана из учебника истории. И только когда о них вспомнили в Германии, они начали, вполголоса, говорить. Они оказались нужны немецкому обществу, испытывавшему чувство острой вины перед ними. В 1994 году был создан общественно-частный фонд, были собраны деньги. Большинство оставшихся в живых на тот момент бывших оstarбайтеров получили по 4300 немецких марок. Но до многих не дошли и эти деньги. Российское же государство вовсе равнодушно к судьбе оstarбайтеров. Никто не знает, сколько их сегодня, где они живут. Им не присвоен никакой официальный статус. Государство не оказывает им даже символической поддержки. В новой России они так же никому не нужны, как и в СССР. Новый российский нарратив о войне вновь триумфален, из него опять вытесняются неприятные сюжеты. Жертвы двух диктатур не вписываются в обновленную праздничную картину войны и победы. До сих пор в России нет ни постоянной выставки, ни научно-исследовательского центра, который бы поддерживал исчезающую из общественного сознания память о «восточных рабочих». Основную работу по сохранению памяти о жертвах войны, как и жертвах репрессий, продолжают вести общественники из «Мемориала» и отдельные ученые. За что им низкий поклон.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЕРТИЗЫ? БРЕКЗИТ И СУДЬБЫ ЕВРОПЫ

Свой кризис ценностей, традиционного послевоенного либерального консенсуса и либерального истеблишмента, возвращение монстров прошлого (ксенофобии, национализма, крайне правых идей и пр.) переживает в наши дни и наш ближайший и самый важный сосед — Европейский союз (ЕС). Наплыв мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Частые кровавые теракты в европейских столицах. Кризис европейской валюты евро. Экономический и долговой кризис, кризис самой европейской модели общества всеобщего благосостояния. Рекордно высокая безработица. Падение общественного доверия, как к национальным политическим элитам, так и к европейским институтам в Брюсселе. Рост популярности популистских, крайне правых, сепаратистских партий. Наконец, референдум в Великобритании и первый в истории европейской интеграции случай, когда государство приняло решение *выйти* из состава ЕС, а не вступить в него.

Сам премьер-министр Великобритании (теперь уже — бывший) Дэвид Кэмерон не хотел и не ожидал такого исхода всенародного голосования. Он объявил референдум о выходе из ЕС под давлением правых в своей партии и Партии независимости Найджела Фараджа (UKIP), с целью выиграть парламентские выборы на популярной в народе критике ЕС. В ходе изби-



Дэвид Смит. Без названия. 1949–1952

рательной кампании Кэмерон обещал британцам, что навяжет партнерам по ЕС глубокие реформы, которые снимут британские озабоченности и защитят интересы Великобритании. Такая тактика принесла временный успех — Консервативная партия получила триумфальное большинство в палате общин. Однако пришлось держать данное слово и назначить референдум на 23 июня 2016 года.

В ходе агитационной кампании сам Дэвид Кэмерон и большинство его министров (но не все) активно выступали за сохранение королевства в составе ЕС, приводя многочисленные аргументы в пользу этого. Прежде всего сторонники европейского выбора Британии указывали на выгоды участия страны в Едином рынке ЕС, а также на привилегии лондонского Сити, ставшего главным финансовым центром ЕС и извлекающем огромные выгоды от того, что главные европейские компании и банки размещали свои акции и офисы в британской столице. За сохранение в составе ЕС выступило и большинство британских ассоциаций бизнеса и компаний. Сам Кэмерон внес в Европейский совет пакет реформ еврообъединения, большинство из которых было поддержано (кроме ограничения свободы передвижения на территории ЕС).

Опросы показывали, что Британия должна остаться в ЕС. А реформы ЕС сняли бы большинство из озабоченностей островного государства, одного из четырех крупнейших членов ЕС. Однако результаты голосования стали для всех шоком. Утром 24 июня 2016 года стало известно, что только 48% жителей Великобритании хотят остаться в ЕС, а более 50% выступили за выход страны из Союза. Разница составила миллион голосов в пользу сторонников брекзита. Кэмерон ушел в отставку, новому премьер-министру, евроскептику Терезе Мэй предстоит теперь организовать процесс выхода — впервые в истории ЕС.

Британское общество оказалось расколото пополам. Бизнес, молодежь, образованные слои голосовали за ЕС, глубинка — против. Но раскол произошел также и между различными частями страны. За то, чтобы остаться в ЕС, проголосовали столица государства Лондон, Шотландия и Северная Ирландия. Чтобы выйти — Англия и Уэльс. Теперь в случае тяжелого варианта брекзита может распасться сама Великобритания — если проведут свои успешные референдумы о выходе из ее состава Эдинбург и Белфаст.

По общему мнению, решающим фактором для отрицательного голосования стал страх жителей островов перед неконтролируемой миграцией. Возникла иллюзия, что в случае выхода из ЕС Британия сумеет успешнее защитить себя от выходцев из нестабильных регионов мира. Хотя это далеко не так — Британия и без того не является членом Шенгенской зоны и может успешно защищать себя от незаконной миграции.

Вторым фактором отрицательного исхода референдума стала работа многочисленных евроскептиков — *экспертов*, неустанно доказывающих выгоды от брекзита. Типичный пример такой антиевросовской экспертизы — книга Роджера Бутла «Траблы с Европой. Почему Евросоюз не работает, как его реформировать и чем его заменить» (М.: Колибри, Азбука-Аттикус, 2015. — 416 с.). Роджер Бутл — известный британский эконо-

мист, глава крупного консалтингового агентства, медийное лицо, колумнист газеты «Дейли телеграф». Он один из тех авторитетных экспертов, чье мнение сыграло свою роль в исходе борьбы за выбор Британии. Но насколько серьезны аргументы экспертов-евроскептиков? При ближайшем рассмотрении они не выглядят серьезными.

Сам Роджер Бутл является умеренным евроскептиком, в духе Кэмерона. Иными словами, он выступает за радикальное реформирование ЕС, а также за то, чтобы королевство осталось в составе Союза (книга вышла незадолго до референдума). Но дух его книги скорее помог брекзиту, нежели помешал ему. Главные ее идеи: ЕС и Европа — не одно и то же. ЕС — это конкретный набор институтов и установлений, и он работает плохо. И поэтому *«Союз необходимо либо радикально реформировать, либо пустить на слом»*. Гармонизация и интеграция в рамках ЕС в конечном итоге неизбежно ведут к *чрезмерному регулированию и подавлению экономической свободы и конкуренцию*. И в этом заключена причина, почему ЕС показывает столь низкие экономические результаты.

К сожалению, в анализе того, как работает ЕС, Бутл смешивает верные выводы с мифологизированными и растиражированными ошибками. Например, при зубодробительной критике того, как работают институты ЕС, он приводит легковесные аргументы вроде того, что Совет министров якобы плохо работает из-за смены председательства каждые шесть месяцев, что доля голосов Британии в нем слишком мала (хотя это весомые 8%), что судьи Суда ЕС якобы ангажированы своими странами и сам суд неэффективен (хотя в реальности это одна из самых эффективных судебных структур мира). При этом он признает высокую эффективность и профессионализм Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Еще одна типичная подмена реалий мифологией заключена в расхожем тезисе о том, что *«сегодня британцам ничего не остается, как молча принимать законы, которые навязываются им в результате византийских интриг между никем не избираемой Европейской комиссией и лидерами других европейских государств — членов ЕС»*. Между тем Комиссия ЕС назначается сегодня с учетом выборов в Европарламент (глава Комиссии — лидер победившей на выборах Народной партии Жан Клод Юнкер). А лидеры стран ЕС демократически избраны в своих странах и наделены демократической легитимностью. Именно они, а не мифические «византийцы», вместе с демократически избранным Европарламентом принимают сегодня решения в ЕС, включая представителей самой Великобритании во всех институтах ЕС (Комиссии, Европарламенте, Совете ЕС, Суде ЕС и Европейском совете). И голос Великобритании в них был одним из самых весомых.

Тезис о *«демократическом дефиците»* в ЕС, только отчасти справедливый, стал расхожей картой у многих европейских политиков, которые все свои успехи приписывают действиям на национальной арене, а все непопулярные меры и решения сваливают на «византийский Брюссель». Хотя на самом деле Брюссель — это тоже они сами, ведь европейские институты — это всего лишь совокупность избранных и назначенных представителей стран и национальных политиков, которые все вместе прини-

мают европейские решения. В Брюсселе нет ни одного человека, принимающего решения, который не был бы до этого назначен политиками или народами государств-членов. *Никакого «Брюсселя» вне стран — членов ЕС и их политиков не существует в природе.* Тем не менее многолетнее перенесение ответственности на европейские институты, безответственное и популистское, принесло свои ядовитые плоды — теперь даже многие эксперты видят корень зла в европейских институтах, а не в своих политиках, которые принимали и одобряли те или иные решения в общеевропейских институтах.

Столь же вздорным является утверждение, что *«в наши дни Европейская комиссия наделена гораздо большей властью и могуществом (может пренебрегать парламентом), чем те, которыми обладали большинство английских королей».* На самом деле Комиссия наделена только той властью, которой наделили ее как раз представители стран — членов ЕС в Совете министров и утвердили всенародно избранные депутаты Европарламента. К тому же Еврокомиссия находится под постоянным и плотным контролем как Совета ЕС, так и Совета министров. Тем не менее миф о всемогуществе Комиссии ЕС внес свой вклад в формирование негативного мнения европейцев о европейских институтах.

Бутл обрушивает на ЕС уничижительную критику в области экономики. По его мнению, создатели и сторонники евроинтеграции придают слишком большое значение размеру рынка, слишком грубо вмешиваются в свободу бизнеса, социальные стандарты ЕС имеют антипредпринимательскую направленность, у лидеров ЕС нет никакой экономической стратегии и даже квалификации, а средства бюджета ЕС слишком велики и при этом безобразно расходуются. При этом сам автор признает беспрецедентные экономические успехи ЕС — ведь на него приходится 30% глобального производства, 15% мировой торговли товарами, 24% мировой торговли в целом. При ближайшем рассмотрении критика оказывается обоснованной только отчасти. Например, не ЕС виновен в кризисе Греции, Испании, Ирландии и других стран Союза, а в гораздо большей степени их национальные правительства. Бюджет ЕС составляет жалкий 1% ВВП ЕС и не может оказать столь разрушительного влияния на экономику, какую ему приписывает автор. К тому же расходует он весьма эффективно, свидетельство чему — многочисленные инфраструктурные проекты, реализованные в странах ЕС. Далеко не все правительства способны так рачительно и результативно использовать бюджетные средства.

Упрекая ЕС в низких темпах роста, сам автор признает, что неизвестно, каких результатов достигли бы страны Европы, живи они отдельно и воздвигая между собой таможенные барьеры, а также ведя друг с другом валютные войны. Скорее всего, результаты были бы еще хуже. Нечто подобное наблюдалось уже в 1970-е годы, с их стагфляцией и взаимным обрушением курса валют. В то же время ряд идей о некоторой либерализации регулирования и поощрении конкуренции не только между компаниями, но и странами заслуживают поддержки.



Критика Бутлом создания и функционирования еврозоны в целом справедлива. Валютный союз с самого начала был дефектным в силу того что: а) в него приняли страны, неконкурентоспособные в сравнении с лидерами, что привело к банкротству их предприятий и б) не были созданы политический союз и фискальный союз, позволяющие контролировать долги и расходы слабых стран еврозоны. Не было договоренностей на случай странового дефолта и краха банковской системы. Все это привело к системному кризису еврозоны. Бутл предлагает похоронить проект евро («думаю, что отказ от евро мог бы улучшить относительную эффективность экономики Европы»). Правда, не приводит при этом расчетов — что произойдет с экономикой ЕС в условиях возобновившихся валютных войн, протекционизма, вероятного в этом случае распада Единого рынка. Прогнозы различных исследовательских институтов последствий выхода Великобритании крайне разноречивы — от экономического кризиса до ускорения роста экономики. При этом взаимозависимость британской экономики и экономики ЕС впечатляет: более половины экспорта приходится на другие страны ЕС, Британия экспортирует 30% своего ВВП, 45% которых приходится на ЕС — это 14% ВВП страны. 40% прямых инвестиций в экономику приходит из ЕС. Любое серьезное нарушение этих связей ударит по экономике островного государства. При этом столь много обсуждаемые взносы Великобритании в бюджет ЕС составляют микроскопические 0,6% ВВП. Тем не менее Бутл продолжает настаивать: если ЕС не будет радикально реформирован, Британии выгоднее покинуть Союз.

В марте 2017 года британское правительство Терезы Мэй и институты ЕС приступили к переговорам об условиях, на которых Британия выйдет из ЕС. Сумеет ли королевство сохранить благоприятный режим доступа к Единому рынку или вынуждено будет понести потери? Пострадает ли Лондонский сити, побегут ли оттуда банки и штаб-квартиры глобальных фирм в немецкий Франкфурт-на-Майне? Сможет ли правительство снизить поток иммигрантов вне рамок ЕС? Не потеряет ли свое значение фунт стерлингов и не станет ли Великобритания мелким сателлитом США в мировой политике, потеряв свое ключевое место в европейской политике? Сбудутся ли катастрофические прогнозы скептиков относительно дальнейшего развала ЕС и еврозоны?

Евроскептики из числа экспертов проделывают полезную работу, выявляя слабые места и откровенные провалы Европейского союза, внося многочисленные предложения по улучшению его функционирования. В то же самое время они в немалой степени способствовали широкому распространению несправедливых мнений и заблуждений, подрывающих доверие к исторически уникальному и важному процессу евроинтеграции. Ничего страшного, если Великобритания, а за ней и Нидерланды выйдут из ЕС. Ничего страшного, если развалится еврозона. Так утверждает сегодня Роджер Бутл и множество подобных ему экспертов. Что ж — посмотрим.

Фактически сразу после церемонии 20 января 2017 года инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа по инициативе выпускников Школы редакция журнала направила эксперту Школы Тому Грэму целый ряд вопросов с просьбой ответить на них. При этом вопросов, которые публикуются ниже, оказалось много.

Денис Греков,
Алтайский край

Уважаемый г-н Грэм, как вы считаете, корректно ли использовать термин «геополитика» в описании того, что происходит сейчас в отношениях между США и Россией?

Если Трамп будет осуществлять внешнюю политику в традициях «реализма», не будет ли это означать усиления изоляционизма в политике США?

Александр Шмелев,
Москва

Дорогой Том! В ваших интервью на «Голосе Америке» и Газете.ру не употребляется слово «ценности». Считаете ли вы, что ценностный подход для внешней политики неактуален и, выстраивая отношения с Россией, Китаем, Украиной, Европой и др., США не должны отталкиваться от того, какие ценности разделяют правительства этих государств и как они себя ведут во внутренней политике? Должен ли Вашингтон поддерживать развитие свободы и демократии в разных точках планеты или это внутреннее дело каждой конкретной страны?

Лилия Храмцова,
Новосибирская область

Уважаемый г-н Грэм, я являюсь представителем общественной организации и имела честь общаться с вами во время семинаров Школы. Большое спасибо за внимательное и доброжелательное отношение к нашей стране.

Могли бы вы ответить после выборов

нового американского президента на мои вопросы:

Как господин Трамп относится к деятельности общественных организаций (могут ли они влиять на формирование общественного мнения, развивать местные сообщества, решать социальные проблемы), стоит ли уделять особое внимание проблеме некоммерческого сектора?

Возможно ли обсуждение сотрудничества общественных организаций двух стран на будущей встрече двух президентов, возможность снятия ограничений для такого сотрудничества и т.п.?

Андрей Велесюк,
Амурская область

Как вы считаете, можно ли назвать Владимира Путина последователем курса Realpolitik? Если нет, то почему?

В США сейчас бушует откровенная истерия насчет вездесущих и всемогущих российских хакеров. С чем это связано?

Николай Антипин,
Челябинская область

Если сравнивать отношения США и России в период президентства Буш-младшего и Трампа, в чем ожидается преемственность, или будут принципиальные различия?

Можно ли говорить о том, что в США партийная принадлежность президента принципиально влияет на внешнеполитический курс страны?

Как вы определили бы основные задачи посла США в России?

Что повлияло на ваш выбор заниматься Россией? Что вас привлекает сегодня в России, что отталкивает?

Виктория Шумилина,

Калининградская область

Возможно ли объединение США, ЕС и России для решения проблем терроризма и миграции? Если да, то на каком уровне и на каких условиях?

Евгения Сосина,

Санкт-Петербург

Майкл Макфол, будучи послом США в России, говорил, что основывается в своей работе на таких принципах, как «открытость» и «честность». Соотносясь с какими принципами и ценностями, нужно выстраивать отношения США и России?

В одном из своих интервью вы говорили о необходимости учитывать, «с какой Россией мы имеем дело сегодня», — охарактеризуйте, пожалуйста, современную Россию. Также вы однажды сказали, что «проблемы с Россией объясняются самой Россией, а не Путиным»; какие, на ваш взгляд, существуют принципиальные разногласия в мировоззрении России и США?

Елена Меньшенина,

Ростовская область

Как уважаемый эксперт оценивает инициативу Дональда Трампа по снятию

санкций «в обмен» на ядерное разоружение? Не кажется ли наивной такая инициатива, пойдет ли Москва на одностороннее разоружение и допустимо ли для США обоюдное снижение уровня ядерного противостояния?

Руслан Царев,

Украина

С избранием на пост президента США Дональда Трампа ряд политиков на постсоветском пространстве связывают надежды/опасения относительно того, что США отнесут к сфере влияния России страны бывшего СССР и бывшего соцлагеря, в частности Польшу и страны Балтии. Насколько обоснованны такие ожидания?

Александр Кашапов,

Оренбургская область

Бывший посол Майкл Макфол нередко собирал в Москве студентов и несистемную оппозицию. Нынешний, Джон Теффт, посещал регионы России. Все это раздражало власти, но с миссионерской точки зрения достигало цели — наводило мосты, создавало почву для будущих диалогов.

Какой вариант взаимодействия изберет новый посол? Появятся ли программы по расширению «выхода в люди»?

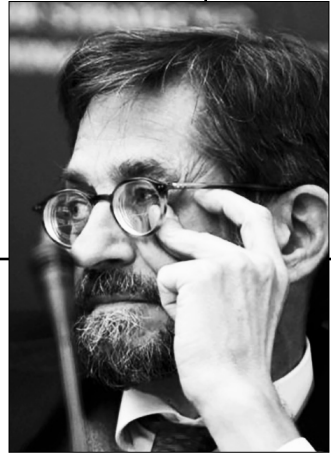
Размышления о российско-американских отношениях

Я хотел бы поблагодарить слушателей Школы гражданского просвещения за вопросы и за живой интерес к американо-российским отношениям. Эти отношения играли главную роль в международных делах, задавали им тон и еще долго будут играть эту роль в будущем. Им была посвящена вся моя профессиональная деятельность, а мне самому эта тема была дорога куда дольше. Вместо того чтобы отвечать на каждый вопрос по отдельности, я подумал, что будет разумнее встроить мои ответы в развернутое эссе о взаимоотношениях России и Соединенных Штатов, которое я предлагаю вниманию читателей.

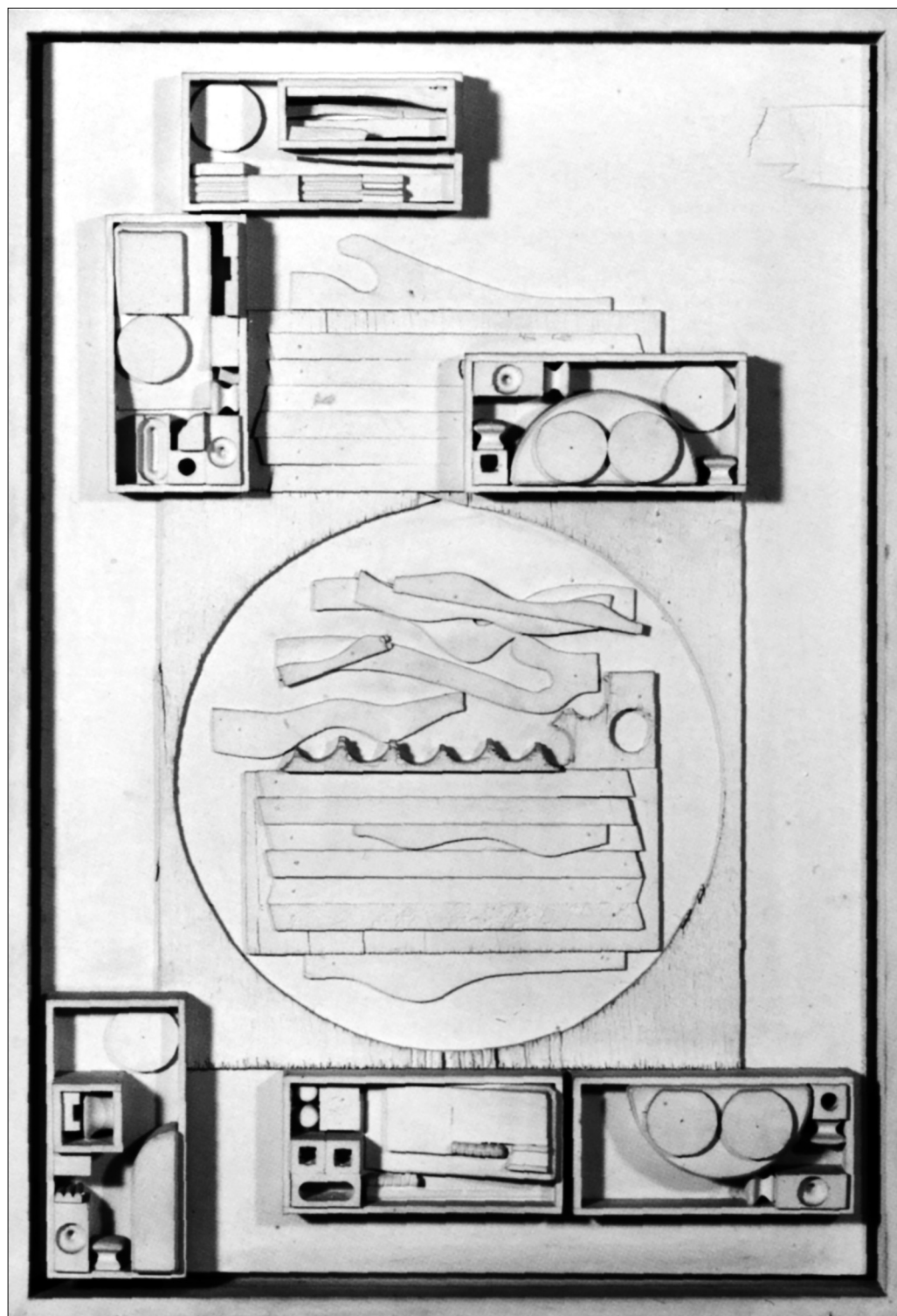
Наверное, есть смысл начать с рассказа о себе. Мой интерес к России пробудился в детстве, когда я мальчиком в самом начале холодной войны рос в 1950-е годы в штате Нью-Джерси, близ Нью-Йорка. Прекрасно помню окружавшую меня обстановку при запуске первого спутника 4 октября 1957 года. Мои родители и их друзья говорили об этом с неясным чувством тревоги. Советский Союз, коммунисты, другая супердержава в смертельном глобальном соревновании с Америкой, обогнал Соединенные Штаты в покорении космоса. И продолжал опережать, отправив в космос сначала собаку Лайку, а затем впервые и человека — Юрия Гагарина — 12 апреля 1961 года.

25 мая 1961 года в ответ на полет Гагарина президент Кеннеди объявил, что Соединенные Штаты поставили цель «отправить человека на Луну и безопасно вернуть его на Землю после полета» до конца десятилетия (что и было, к слову, сделано). Космическая гонка началась всерьез, когда США начали долго и неослабно стараться обогнать Советский Союз. Это увлекало воображение многих молодых американцев, включая и меня.

Мое следующее яркое воспоминание относится к осени 1962 года — к Карибскому кризису. Советский



*Томас Грэм,
управляющий директор
консалтинговой фирмы
Kissinger Associates*



Луиза Невельсон. Рассветный пейзаж XIV. 1975

Союз разместил ракеты с ядерными боеголовками на Кубе, что представляло угрозу для США. Эти действия привели к противостоянию, поставившему нас на грань ядерной войны, как заявил президент Кеннеди, объявляя морскую блокаду Кубе. Я помню репортажи о приближении советских кораблей к Кубе. Мы все с тревогой ждали, развернутся они или продолжают двигаться к острову, что было чревато началом военных действий. Затем неожиданно советские корабли встали как вкопанные, начались секретные переговоры, приведшие в конце концов к договоренности, по которой Советский Союз отвел свои ракеты в обмен на данное Америкой обещание не вторгаться на Кубу и, как мы позже узнали, вывезти часть американских ракет из Турции. Эта опасная конфронтация привела также к открытию прямой телефонной линии между Белым домом и Кремлем, чтобы, имея возможность во время кризиса разговаривать напрямую, снизить риск ядерной войны.

Затем наступила Пражская весна. Советский Союз 21 августа 1968 года вторгся в Чехословакию, и советский лидер провозгласил (впоследствии это стали называть «доктриной Брежнева»), что СССР не позволит ни одной стране, попавшей в его орбиту, сойти с нее или отказаться от коммунизма. Запад был против, но не был готов идти на риск начать войну, чтобы заставить Советский Союз отказаться от доминирования в Восточной Европе. В результате этих и похожих событий к тому времени, когда я поступил в Йельский университет осенью 1969 года, Россия, как я ее воспринимал, была грозной супердержавой с несомненной научной и военной мощью. Многие молодые американцы думали, как и я. В то время в Йеле русистика была популярным предметом. На лекциях по истории Коммунистической пар-

тии Советского Союза, которые увлекательно читал бывший аппаратчик из Восточной Германии, собиралась огромная аудитория. Русский язык учили десятки студентов. Многие из них надеялись после окончания университета поступить на государственную службу, чтобы внести свой вклад в холодную войну.

И в Йеле же мне открылась другая сторона России — ее великая культура. Русский я начал учить еще в школе, но мало что читал из русской литературы. Все изменилось во время учебы в университете. Я где-то слышал — возможно, на одном из уроков русского, что при поступлении в университет абитуриент должен был прочитать основные книги русских классиков. Что я и наверстывал во время школьных летних каникул. Так я познакомился с миром Достоевского, Толстого, Чехова и других писателей. И образ России у меня изменился. Оказалось, что эта супердержава имеет еще и глубокое духовное наследие, во многом обогатившее мировую культуру.

Следующим шагом на моем пути стала первая поездка в Советский Союз в 1981 году по программе студенческого обмена. На самом деле по обмену поехала моя жена, а я поехал с ней как муж. Но у такого расклада были свои преимущества: я не должен был сидеть в библиотеках, а мог свободно — в той мере, в какой позволяли советские власти — открывать для себя Москву. В результате я познакомился с простыми русскими людьми. В частности, оказался единственным нерусским среди почти десяти человек в клубе любителей бани по четвергам. Мы по очереди парились, а потом пили водку и, конечно, закусывали. Тогда я многое узнал о советских трудовых обычаях — все работали, но в баню ходили в четверг после обеда. Но что гораздо важнее, русские стали для меня живыми настоящими

людьми, с такими же, как у всех, человеческими надеждами и страхами. За прошедшие с той поры годы я познакомился с сотнями россиян, включая многих участников семинаров, которые проводят Лена Немировская и Юрий Сенокосов. Находясь на госслужбе, мне довелось работать со многими русскими, преимущественно в рамках проектов, посвященных разным аспектам российско-американских отношений. Я всегда ценил их ум, умение и человеческую порядочность и именно поэтому не разделяю нарастающую сейчас демонизацию России. Я знаю и уважаю многих, кто находится «по ту сторону баррикады».

В США меня часто причисляют к «реалистам» в отношении внешней политики, в то время как сам я отношу себя к прагматикам, то есть к тем, кто пытается решать проблемы или заниматься ими. Реалисты в строгом смысле слова рассматривают суверенные государства как главные действующие лица на мировой арене, воспринимая негосударственных деятелей, включая представителей бизнеса, организации гражданского общества и даже террористов, не как самостоятельные единицы, а в качестве инструментов государства. Я же полагаю, что негосударственные лица осуществляют собственную повестку дня. Строгие реалисты убеждены, что государства в силу своей природы соперничают за власть и престиж и что конфликты между ними не только являются неизбежными, но выражают суть международных отношений. Я же, признавая неизбежность конфликтов, утверждаю, что у нас есть моральное обязательство искать пути к сотрудничеству ради улучшения условий человеческого существования. В нашем мире конфликтов реалисты ценят твердую власть, силу принуждения, тогда как я придаю большую роль мягкой силе и привлекательности образа

своей страны в отстаивании национальных интересов.

Вопреки широко распространенному убеждению, реализм и его мягкая версия, прагматизм, признаёт роль ценностей в международных делах. Не утверждается, что страна должна выбирать между ценностями и своими интересами — они во многом совпадают. В случае Америки продвижение демократических ценностей, разумеется, происходит в американских интересах. Фактически с момента своего возникновения как независимого государства в конце XVIII века Америка всегда стремилась к продвижению демократии. Как это происходит? В основном по двум конкурирующим направлениям. Странники одного направления утверждают, что США должны продвигать свои ценности на собственном примере, то есть стремиться совершенствовать свою внутреннюю систему, демонстрируя, что она способна справиться с вызовами, с которыми сталкивается, и тем самым показывая пример другим странам, которые захотят ему следовать. За границей Соединенные Штаты должны действовать исходя из допущения, что демократия является результатом самостоятельного развития того общества, где она укореняется. Ее невозможно экспортировать. Странники другого направления исповедуют более миссионерский подход, утверждая, что США должны активно продвигать свои ценности и, в крайнем случае, даже решаться ради этого на применение силы (так считали, например, многие в администрации президента Дж. Буша-младшего). Я принадлежу к первому направлению и полагаю, что при неурядицах в самой стране США следует привести в порядок дела у себя дома, вместо того чтобы проповедовать достоинства американской демократии скептически настроенной аудиторией за рубежом.

В отношении России такой подход означает политику, признающую, что наши возможности нести добро ограничены, а риски нанести вред больше; что выигрыш перевешивает моральное негодование; что цель состоит не в достижении немедленных поверхностных результатов, а в проявлении терпения сообразно медленному темпу изменений в обществе. Несмотря на лучшие намерения, наши действия в России нередко причиняли вред, потому что Россия слишком сложна, а наше понимание российского общества поверхностно, чтобы достичь ожидаемого успеха. Так что, я думаю, в настроенном Кремле не случайно сузили пространство для движения к более плюралистическому и демократическому обществу. Исторически Россия показывала наибольшую способность к демократическому развитию в периоды снижения напряженности между нашими странами. С этой точки зрения лучшее, что США могли бы сделать сегодня для продвижения демократии в России, — это найти способ снизить напряжение и открыть возможности для более широких контактов между людьми ради достижения общих целей.

В отличие от разделяемого мной прагматического подхода российское руководство строго придерживается реалистического взгляда, который можно назвать великодержавным направлением в международных делах. Это направление не только господствовало еще до недавнего времени в европейском мышлении, но и формировало российскую внешнюю политику, по крайней мере с тех пор, как в начале XVIII столетия Петр Великий сделал из России великую державу и привел ее в Европу. Будучи привержен-

цами великодержавной школы мысли, российские лидеры неуклонно настаивали, что Россия есть и должна быть единой. Этот тезис в известном смысле экзистенциальный. Как однажды сказал в бытность свою президентом Дмитрий Медведев: «Россия может существовать

*Задача для каждой из наших стран –
создание оптимального баланса между
соперничеством и сотрудничеством по всем
вопросам ради продвижения собственных
интересов*

или как сильное государство, как глобальный игрок, или ее не будет вообще». И в этом нет ничего изначально неверного.

Соединенные Штаты тоже, в конце концов, настаивали последние 70 лет, во всяком случае, до инаугурации Трампа, что они являются единственным лидером свободного мира, лидером миропорядка. А другие страны? Для них вопрос состоит в том, как Россия и, конечно, США ведут себя в международных делах и какое влияние это оказывает на их собственные интересы.

Исторически Россия как великая держава всегда вызывала тревогу в странах Европы из-за своих действий и казалась чужой, загадочной, особенно с конца наполеоновского периода, когда Европа устремила к большим свободам, а Россия воспринималась укорененной в авторитаризме. Это не значит, что европейские страны с ней не сотрудничали. В рамках меняющихся коалиций великих держав сотрудничество сохранялось, но не на основе глубокого доверия, а скорее для поддержания безопасности и стабильности при тщательно просчитываемом балансе сил. Такая же ситуация и сегодня. В этом смысле про-



Лучо Фонтана. Космический проект. 1967

блемой для Запада является не Путин, а Россия. И так будет продолжаться, пока не произойдет большее сближение ценностей.

В настоящее время поведение России — захват ею чужой территории (я имею в виду Крым), провоцирующие разведывательные полеты вдоль границ НАТО, вмешательство во внутренние дела других государств, включая кибервтор-

жение для срыва политических процессов, — чрезвычайно беспокоит США. А Россия, в свою очередь, уверена, что поведение США — размещение системы ПРО вблизи российской границы, расширение НАТО, поддержка цветных революций и то, что Москва называет бесцеремонным вмешательством во внутренние дела России, — представляет угрозу ее основополагающим интересам.

Такие взгляды лежат в основе все нарастающего напряжения в российско-американских отношениях. Нет смысла уменьшать проблему или говорить, что отправной точкой наших отношений всегда должен быть настрой на сотрудничество. Потому что каждая из сторон будет обвинять другую, обличая некие ее моральные пороки, которые скрывают собственные попытки проявить добрую волю. Такая реакция только нагнетает напряжение. Но причины, по которым не залаживается обычно сотрудничество, не являются следствием морального порока. Неудач вызван дуэлью национальных интересов.

Различия существенные: Россия и США не находят согласия по основополагающим началам миропорядка или, по крайней мере, по их применению в реальном мире. У нас с Россией расхождения в понимании принципа суверенитета, притом что Россия преимущественно отстаивает право каждой страны, вытекающее из ее суверенитета, на самостоятельное управление без внешнего вмешательства, тогда как США настаивают на том, что суверенитет предполагает и некие обязательства, в первую очередь обязательство не допускать превращения страны в платформу, откуда негосударственные структуры могут угрожать другим странам. У нас нет согласия в понимании применения принципа самоопределения, что наиболее наглядно продемонстрировано на примере Косово и Крыма, нет согласия в том, когда применение силы является легитимным, о чем свидетельствовали наши споры о конфликте на Балканах в 1990-е годы и в Ираке и Грузии в 2000-е. Также Россия настаивает на том, что у нее есть сфера привилегированных интересов, что категорически отвергается США.

У нас прямо противоположные взгляды и на основные геополитические вопросы. В отношении Украины это самооче-

видно. У нас разительно различающееся изложение событий, приведших здесь к конфликту. Кремль усматривает в нем неонацистский государственный переворот, разжигаемый Западом, и утверждает, что у него есть обязательства по защите русскоговорящего населения на востоке Украины, сопротивляющегося Киеву. Вашингтон же рассматривает его как народное восстание для свержения коррупционной власти, а российские действия как направленные на то, чтобы помешать устремлениям Украины к присоединению к евро-атлантическим институтам и вернуть в свою сферу влияния. Кремль рассматривает вхождение Крыма в состав Российской Федерации как легитимный акт самоопределения, а Вашингтон говорит об открытом захвате украинской территории. Кремль подчеркивает, что у него есть законные интересы на Украине, исторические, торговые, личные, семейные и дружеские связи с Украиной, утверждая, что она находится слишком далеко от Соединенных Штатов, чтобы у них была какая-либо заинтересованность в ней. Вашингтон же, напротив, настаивает, что у него как раз есть там жизненно важные интересы — в поддержании норм и правил европейской безопасности, — утверждая, что действия Кремля представляют их грубое нарушение, за что он должен быть наказан, прежде всего санкциями.

Мы не сможем в ближайшем будущем, а то и никогда преодолеть эти расхождения. Но спустя три года после начала конфликта обе стороны осознают, что продолжающееся противостояние способствует опасному ухудшению отношений в целом, что может привести к открытому конфликту. Обе стороны хотят урегулировать кризис, но каждая по-своему. А это не произойдет. Вопрос: сможем ли мы в таком случае найти приемлемое решение конфликта, которое

удовлетворит минимальные потребности всех сторон, включая Россию, ЕС, США и, самое главное, Украину и ее сепаратистов? Говоря шире, я бы утверждал, что решение лежит во внеблоковом статусе Украины, в уважении прав меньшинств (включая права этнических русских и крымских татар), в предоставлении пакета помощи для восстановления разрушенной экономики Украины, включая Донбасс. Но, как говорится, черт прячется в деталях, а детали будут прописаны только в результате трудных переговоров между всеми сторонами конфликта.

То, что верно для Украины, верно в отношении почти каждого вопроса в российско-американской повестке, начиная от стратегической стабильности до нераспространения оружия массового поражения, от борьбы с терроризмом до Сирии, до архитектуры европейской безопасности и так далее. По этим вопросам задача состоит не столько в том, чтобы найти пути к сотрудничеству, сколько в том, чтобы сотрудничать в тех областях, где мы можем делать это к взаимной выгоде. Задача для каждой из наших стран — создание оптимального баланса между состязанием и сотрудничеством по всем вопросам ради продвижения собственных интересов. Этот баланс может быть найден только в результате сложных переговоров и действий.

Согласится ли администрация Трампа с таким подходом — вопрос открытый спустя столь малый срок, как несколько недель после инаугурации. И если учесть, что во время избирательной кампании Трамп говорил на разные темы, не дающие представления о связной политике по России. Теплые слова в отношении Путина и размышления об устаревшем НАТО, которые должны были понравиться Кремлю, чередовались у него с прямо противоположными обеща-

ниями — нарастить военную мощь США, пересмотреть договор СНВ, укрепить противоракетную оборону, в корне изменить ядерную сделку с Ираном. Не говоря уже о том, что во главе аппарата Трампа по национальной безопасности находятся люди, имеющие намного более радикальные взгляды на Россию, чем у самого Трампа, а самый высокопоставленный из его сотрудников, выступавших за сближение с Россией, Майкл Флинн был уволен якобы за то, что дал неправильные сведения о своем разговоре с российским послом в Вашингтоне. И все это в ситуации, когда конгресс и СМИ рьяно ищут тайные связи с Россией у Трампа и его союзников и начинается расследование российского вмешательства в президентские выборы. В такой атмосфере сближение с Россией выглядит невероятным, тем более заключение неких грандиозных договоренностей. Как они должны были бы выглядеть? Каковы должны быть элементы сделки? Часто упоминают сотрудничество в борьбе с ИГИЛ, потому что распространено убеждение, что у нас есть общий интерес в разгроме этой террористической организации. Правильно это или нет, но в Вашингтоне мало кто верит, что Москва заинтересована в борьбе с ИГИЛ, скорее сейчас преобладает мнение, что Москва стремится поддержать своего союзника, президента Сирии Асада, ведущего жестокую войну против собственного народа, из-за чего, собственно, и пополняются ряды ИГИЛ. А Кремль, в свою очередь, полагает, что в Вашингтоне куда как более заинтересованы в свержении Асада, нежели в борьбе с ИГИЛ. Москва не видит большого смысла пытаться провести размежевание между умеренной оппозицией и террористами, когда Вашингтон утверждает, что он пытается это сделать, и т.д. В таком свете мало видов на сотрудничество в борьбе с ИГИЛ.

Иначе говоря, мало что указывает на то, что Москва готова изменить свою позицию по вопросам, беспокоящим США, таким как Украина или Сирия. Мысль о том, что Вашингтон сделает шаги к нормализации отношений с Россией, закрыв глаза на российские действия, которые привели к серьезному ухудшению отношений, является по меньшей мере попыткой выдать желаемое за действительное.

Это не означает, что положение полностью безнадежно. Скорее это повод, чтобы сосредоточиться на том, что реально возможно сегодня. Или, как говорят в таких случаях, надо умерить ожидания, «лучше меньше да лучше». Нам следует начать с восстановления каналов связи, прерванной из-за возникшего кризиса на Украине три года назад. Целью этого будет не столько поиск областей для сотрудничества, сколько возможность для каждой стороны лучше понять интересы, цели и политику противоположной, с тем чтобы избежать чрезмерной реакции в момент острого кризиса, который может привести к ненужному ни одной стороне конфликту. Если будут найдены направления сотрудничества, тем лучше, но я думаю, что это будет не крупномасштабное сотрудничество, а ограниченное взаимодействие по вполне конкретным узким задачам. После трех лет почти полного коллапса доверия это будет означать важный шаг вперед.

Посол США в России, естественно, чрезвычайно важная фигура в этом взаимодействии. И поэтому он должен вести себя с великим тактом. Его главная обязанность — представлять Соединенные Штаты, а именно администрацию, рос-

сийской власти. Для этого следует заручиться доверием российских официальных лиц. И одновременно посол не должен забывать о российском обществе, включая тех, кто находится в оппозиции к власти. Этого от него ждет конгресс, а его способность быть эффективным

*Успех сегодня – избежать наихудшего,
а подготовка почвы для лучшего будет
во многом зависеть от нашей готовности
принять как реальность наши разногласия
и от нашей способности конструктивно
с ними работать*

собеседником российской власти зависит от того доверия, которым он заручится у себя дома в Вашингтоне. Достичь такого баланса весьма непросто, и у последних послов США это получалось в зависимости от профессионального мастерства.

Что сулит нам будущее, конечно, неизвестно. Похоже, что мало оснований надеяться на коренное улучшение российско-американских отношений. Вероятность того, что они будут дальше ухудшаться, куда выше, даже притом что обе стороны заинтересованы в обратном. Успех сегодня — избежать наихудшего, а подготовка почвы для лучшего будет во многом зависеть от нашей готовности принять как реальность наши разногласия и от нашей способности конструктивно с ними работать. И прямо сейчас — все будет зависеть от нашей готовности слушать друг друга с уважением.

*Перевод с английского
Н.М. Петровой*

СОДЕРЖАНИЕ

Журнала «Общая тетрадь» за 2016 год

К читателю

Немировская Елена
За гражданское просвещение!
(№ 3–4)

Федотов Михаил
Правозащита — искусство
невозможного (№ 1–2)

Семинар

Гозман Леонид
Есть ли у России шанс? (№ 3–4)

Шульман Екатерина
Анатомия Левиафана (№ 3–4)

Форум

Груден Матьяш
О послевоенном европейском
наследии (№ 3–4)

Лалюмьер Катрин
Если у демократии нет ориентиров,
она теряет жизненную силу (№ 3–4)

Минаков Михаил
Универсализм и партикуляризм
(№ 3–4)

Улитчев Иван
Отзыв о форуме (№ 3–4)

Шлосберг Лев
Кризис ценностей и кризис государств
(№ 3–4)

Эпле Николай
Вторая жизнь национализма и миграция
(№ 3–4)

Тема номера

Рогинский Арсений
Право и просвещение (№ 1–2)

Сенокосов Юрий
Обществу граждан — гражданское про-
свещение (№ 1–2)

Вызовы и угрозы

Хабермас Юрген
Игроки покидают поле (№ 1–2)

Точка зрения

Гаршин Родион
(Российско-)украинский конфликт в
свете дискурсивной этики Хабермаса
(№ 3–4)

Макаркин Алексей
Российское общество: чувства и ожида-
ния (№ 1–2)

Панеях Элла
Российское общество: ценности и дей-
ствия (№ 1–2)

Дискуссия

Гаршин Родион
Об иррациональном объяснении (№ 1–2)

Ниненко Иван
Конфликт мировоззрений: попытка
иррационального объяснения (№ 1–2)

Скидельски Эдвард
Этика в политике (№ 3–4)

Гражданское общество*Сенокосов Юрий*

О гражданине и гражданском просвещении (№ 3–4)

Согомонов Александр

Гражданское образование в контекстах мировой истории (№ 1–2)

Горизонты понимания*Ворожейкина Татьяна*

Институты и демократия в современном мире: Бразилия — от успеха к провалу (№ 1–2)

История идей*Генчер Бебри*

Суверенитет и разделение властей в учении Джона Локка (№ 3–4)

Захаров Андрей

Шарль-Луи де Монтескье и его время (№ 3–4)

*Зарицкий Томаш**Смочиньский Рафал*
Современная гражданская модель в Польше и западные модели (№ 3–4)**История учит***Захаров Андрей*

Томас Гоббс и укрощение Левиафана (№ 1–2)

Конрад Леон

Универсальные ценности (№ 1–2)

Европа и Россия*Жарков Василий*

Почему Россия (не)Европа (№ 1–2)

Лукьянова Елена

Правовой диалог, мораль и трудности перевода (№ 1–2)

Война и мир*Колесников Андрей*

Хотят ли русские войны (№ 1–2)

Исторический опыт

Москва–Петербург. 25 лет реформ (№ 3–4)

Наш анонс*Паттен Кристофер*

Что дальше? Выживание в XXI веке (№ 1–2)

Книги*Захаров Андрей*Раскаявшийся коммунист (№ 1–2)
В фантазиях о прошлом (№ 3–4)**Контрапункт***Волков Александр* (№ 1–2)*Рыжков Владимир* (№ 3–4)**Nota bene***Грэм Томас*

Размышления о российско-американских отношениях (№ 3–4)

Драгунский Денис

Бабочка на стекле, или Похороны факта (№ 1–2)

Трудолобов Максим

От горожанина к гражданину: долгий путь к «гражданству» (№ 1–2)

CONTENTS
№ 3–4 (71) 2016

TO OUR READER

Up Civic Enlightenment!

Lena Nemirovskaya 5**FORUM**

On the Post-War European Legacy

Matjaz Gruden 8

Without the Guiding Landmarks

Democracy Loses Vitality

Catherine Lalumière 12A Crisis of Values and A Crisis
of States*Lev Shlossberg* 17Migration and A Second Life
of Nationalism*Nicholas Epplé* 21

Universalism and Particularism

Mikhail Minakov 25

Recalling the Forum

Ivan Ulitchev 30**A VIEWPOINT**(Russian-)Ukrainian Conflict in
the light of Habermas's Discourse

Ethics

Rodion Garshin 32**DICUSSION**

Ethics in Politics

Edward Skidelsky 39**SEMINAR**

The Anatomy of Leviathan

Ekaterina Schulman 49

Does Russia Stand A Chance?

Leonid Gozman 64**HISTORY OF IDEAS**Charles-Louis de Montesquieu and
His Time*Andrei Zakharov* 76Sovereignty and Division of Powers
in the Teaching of John Locke*Bedri Gencer* 89A Contemporary Civic Model in
Poland and the Western Models*Tomasz Zaritsky*
Rafał Smoczyński 112**CIVIL SOCIETY**

Citizen and Civic Enlightenment

Yurii Senokosov 126**HISTORICAL
EXPERIENCE**

Moscow — St. Petersburg.

Twenty-five Years of Reform 135

BOOKS

Fantasizing about the Past

Andrei Zakharov 157

Counterpoint

Vladimir Ryzhkov 159**NOTA BENE**Deliberations on the Russia-US
Relations*Thomas Graham* 169

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Главная тема:

СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наши авторы:

Лев Гудков

Сергей Гурьев

Галина Денисова

Василий Жарков

Андрей Захаров

Алексей Кара-Мурза

Шелби Коффи

Шетил Ларсен

Джон Ллойд

Алексей Макаркин

Калипсо Николаидис

Юлия Панфилова

Владимир Рыжков

Михаил Сульман

Светлана Шмелева

Подписано в печать 10.07.2017.

Формат 70×108/16.

Усл.-печ. л. 11,5.

Тираж 500 экз.

Заказ №

Школа гражданского просвещения

123001 Москва,

Ермолаевский пер., д. 7

<http://www.civiceducation.ru>

ISBN 978-5-91734-113-6